

ЕВГЕНИЙ АКУЛЕНКО



РОТМИСТЪ

16+

Евгений Акуленко

Ротмистр

«ЛитРес: Самиздат»

2010

Акуленко Е.

Ротмистр / Е. Акуленко — «ЛитРес: Самиздат», 2010

...На следующее утро экспедиция снялась с места, а Фридрих Карлович отправился обратно в Петербург. Он не знал, что Ливнев разослал по окрестным деревням своих агентов, снабженных гипсовыми слепками рук, снятыми с таинственного рельефа. На особенно удачно отпечатавшихся мизинце и безымянном пальце, при взгляде через увеличительное стекло, явственно просматривались папиллярные линии...

* * *

Профессор Санкт-Петербургского университета Фридрих Карлович Яттс выбрался из почтового тарантаса под сентябрьскую морось, и, кутаясь в набрякший от влаги плащ, с тоской посмотрел на свои желтые лакированные штиблеты, по щиколотку утопшие в грязь, на багаж, сваленный тут же, и беспомощно огляделся. Хутор Шишовка название свое полностью оправдывал. Два десятка почерневших от времени и дождя изб, окруженных подгнившими жердями, затерялись на бескрайних просторах Российской Империи. Вплотную к изломанным лоскутным огороδικам стеной подступал суровый таежный лес, простиравшийся на многие сотни верст вокруг. Единственная ниточка цивилизации – узкая петлючая дорога, не дорога – тропа, отблескивающая скопившимися в колеях ручейками, заканчивалась здесь, у ног профессора.

– Фридрих Карлович? – скорее для порядка осведомился молодой человек неслышно возникший позади.

Вряд ли в такую глушь заехал бы случайный человек.

– Прошу простить за задержку. Меня зовут Вортош.

– Это имя или фамилия?

– Имя.

– Честь имею, – профессор недовольно поджал губы. – Полагаю, неотложное дело, по которому меня сюда вызвали, стоит затраченных мной усилий.

Вортош дипломатично склонил голову набок:

– Прошу за мной.

– Черт знает что такое, – запричитал Фридрих Карлович, оскальзываясь на мокрой траве. – Я бросаю лекции, бросаю научную работу, бросаю все!.. И, не знамо зачем, тащусь в эту Тмутаракань. Сначала паровозом, после на перекладных, после на обыкновенной телеге... Вы знаете, что такое провести две недели в путешествиях по российским дорогам? Вот уж, воистину, две беды...

– Боюсь, Фридрих Карлович, – обернулся Вортош. – что здесь одной бедой меньше.

– Что же, все умные?

– Отнюдь. Просто дорог нет вовсе.

– Шутки шутить извольте, – профессор вздохнул.

Подле оседланных лошадей отирался сутулый мужичок, то и дело оглаживающий кучерявую бороденку.

– Это – Аким. Проводник из местных, – Вортош умело навьючивал кладь.

– Можно ехать, что ль? – мужичок нетерпеливо поправил на плече ремень двуствольного ружья. – Засветло б добраться.

– Позвольте! Не хотите ли вы сказать, что мне придется еще и верхом, так сказать?..

– Верст десять, – Вортош помог кряхтящему профессору взобраться на лошадь. – А после пешком...

– Все! Довольно! – запротестовал тот, размахивая руками. – Не желаю более вас слушать! Немедленно снимите меня и отправьте обратно в Петербург!..

– Фридрих Карлович! – Вортош сел в седло. – Вы изволили спросить, значима ли причина, вызвавшая ваш визит? Так вот, посмею вас заверить: да!..

Нахохлившийся, похожий на мокрого воробья Фридрих Карлович, едва переставлял непослушные ноги в презентованных Вортошем кожаных сапогах, обессилено переваливался через поваль с задранными уродливыми дланями корневищ. Аким уверенно вел сквозь непролазные дебри, огибал топи, угадывал места бродов голосистых каменистых речушек, останавливался, терпеливо ожидая медлительных своих спутников, дымил махоркой. Как он ориентировался в тайге без новомодного компаса, без карты, при небе, затянута тучами, ведал один

лишь Господь. Дважды проводник вскидывал ружье, выцеливая копошащегося в буреломе медведя, почтительно величаемого в здешних местах «хозяином». Уже в сиреневых сумерках забрезжили впереди яркие язычки костров.

– Добрый вечер, Фридрих Карлович! – навстречу, в сопровождении людей с факелами, выступил широкоплечий высокий господин. – Надеюсь, путешествие было не слишком утомительным?

– Оставьте ваши любезности! – раздраженно отозвался профессор, всматриваясь в выразительное при свете факелов лицо. – Здесь, похоже, любой знает меня по имени отчеству. С кем имею честь?

– Простите, виноват! Ливнев Матвей Нилыч, начальник экспедиции. Мои коллеги в Петербурге отрекомендовали вас как лучшего специалиста в области археологии и палеонтологии, и я крайне благодарен вам за то, что вы откликнулись на мой призыв. Все вопросы, коих у меня, уверяю, накопилось ничуть не меньше, чем у вас, предлагаю отложить до завтрашнего утра. Вам сейчас нужно отдохнуть, поужинать, переодеться в сухое. Проводите профессора в палатку!..

– Подождите, умоляю! – заломил пальцы Фридрих Карлович. – Все, что вы сказали, очень лестно, однако я никогда не решился бы отправиться сюда, если бы не любопытство, порок, который меня, в конце концов, погубит. Одна лишь мысль не давала мне послать к черту всю эту затею и вернуться с полпути домой... Покажите, что же вы нашли!

– Извольте, – кивнул Ливнев после недолгого раздумья и жестом пригласил профессора следовать за собой.

Трепещущий свет факелов выхватывал из темноты толстые, в два, в три обхвата, стволы лиственниц и елей, казавшихся столпами, подпирающими небеса. Где-то там, в вышине их кроны душили друг друга в объятиях в борьбе за солнечные лучи. Под сплошной зеленой кровлей рос один лишь бурый, местами доходивший до колена мох, наползающий волнами на громады серых валунов. Ливнев запрыгнул на пологий пласт камня, сделал несколько шагов и остановился, осветив в гранитной глыбе нишу в форме человеческого силуэта. Кто-то будто полежал на спине, вытянув руки вдоль тела, и оставил после себя отпечаток во весь рост, на глубину ладони ушедший в твердь.

Не говоря ни слова, Фридрих Карлович опустился на колени и принялся ощупывать стенки формы, будто желая убедиться, что перед ним не мираж. Фигура поражала тщательностью исполнения: конечности были абсолютно пропорциональными, без малейших изъянов или дефектов. Профессор нащупал косточки спинного хребта, мочки ушей, да, что там, ногти на мизинцах и безымянных пальцах.

Переминающийся с ноги на ногу Ливнев деликатно кашлянул.

– Поразительно! – выдохнул профессор. – Поразительно! Никогда ничего подобного, клянусь!.. Похоже на усыпальницу или саркофаг... Или окаменевшее захоронение древнего человека...

Фридрих Карлович шипел проклятия себе под нос, не видя и не слыша ничего вокруг, истирал брюки о шершавый камень, изредка, покусывая огрызок карандаша, делал пометки в потрепанном блокноте. За последние несколько суток профессор осунулся, почернел лицом; запавшие, покрасневшие глаза отблескивали из глазниц лихорадочным безумием: крайнее возбуждение отняло сон, позволяя забыться лишь на пару часов тревожным маревом беспамятства.

– Вы можете сказать каким веком датируется фигура? – осторожно поинтересовался Ливнев.

– Черта с два! – Фридрих Карлович поднялся, отряхивая колени. – Черта с два я могу сказать хоть что-нибудь определенное!.. Никаких стесов, никакой каменной крошки в порах...

Вряд ли это рукотворное изваяние, больше похоже на отпечаток некогда жившего человека в затвердевшей со временем породе. Науке известны подобные находки, пусть не такого умопомрачительного качества, но...

– Говорите же, – подбодрил Ливнев, видя колебания профессора.

Тот пожевал губами, нахмурился.

– Вот тут-то и кроется главная загвоздка. Фигура выполнена уже в твердом граните. Взгляните, здесь будто прошли шлифовальным кругом, врезались в изначальную структуру породы. Вода, ветер за долгие годы делают камень пористым, а ниша гладкая, как стекло. Внутри не прижился ни мох, ни лишайник. Сей факт свидетельствует только об одном...

– Продолжайте, Фридрих Карлович, – Ливнев впитывал каждое слово.

– Рельеф нанесен несколько месяцев назад, – профессор развел руками. – А может стать – недель... То есть, неизвестный скульптор, в купе с необходимым оборудованием, забрался в таежную глухомань, чтобы исполнить ювелирную работу на потеху лесному зверью! Бред!..

Ливнев прищурился, покивал головой. Фридриху Карловичу почудилось, что тот ни мало не удивлен противоречивыми его выводами, а, наоборот, ожидал услышать нечто подобное. К слову сказать, впечатления ученого мужа начальник изыскательской партии не производил: рослый, широкоплечий, уверенный в движениях, он скорее напоминал офицера гвардии. Да и порядок в лагере царил соответствующий: вежливые молодые люди, с немигающим, внимательным взором подчинялись Ливневу беспрекословно.

– Ваша находка, бесспорно, произведет фурор в научном мире, – продолжал профессор. – В Императорском Географическом обществе, действительным членом которого я являюсь, прямо-таки с ума сойдут...

– Боюсь, – перебил Ливнев, – от публикаций придется воздержаться. Более того, прошу вас, уважаемый Фридрих Карлович, не предавать огласке увиденное вами и содержать в тайне истинную причину вашей поездки.

– Помилуйте, отчего же? – поднял брови профессор.

Ливнев извлек из-под непромокаемого плаща сложенную вчетверо бумагу, развернул, и, не выпуская из руки, предоставил Фридриху Карловичу возможность вдоволь полюбоваться пестревшими на гербовой бумаге печатями и вензелями. Буквы прыгали перед глазами изумленного профессора, но ему все же удалось запечатлеть слова: «наделяется особыми полномочиями», «всемерное содействие», «тайный советник» и высочайший росчерк Его Императорского Величества.

Тайный советник, занимавший третью, равную с армейским генерал-лейтенантом, ступень в «Табели о рангах», стоял напротив, попирая влажный перегной сапогами на толстой рубчатой подошве, и буравил профессора ясными, холодными, как речные льдинки, глазами. Широкоскулое лицо его не несло никаких эмоций и походило на восковую маску с грубоватыми, но правильными чертами.

– Слушаюсь, – только и выдал в раз пересохшим горлом профессор. – Изволите расписку?..

– Фридрих Карлович, уверяю, – Ливнев приобнял профессора за локоть. – В этом нет никакой нужды, и мне вполне довольно вашего слова.

– Оно у вас есть. Но позвольте, чем же, однако, вызван столь пристальный интерес к находке, гм, государственной службы?

Ливнев помолчал, потер переносицу в раздумье и негромко произнес:

– Рельеф обнаружили двое беглых каторжан, скитавшихся по тайге. Они клялись в голос, что слышали необычайно громкий, хлестнувший по ушам, треск, и решились приблизиться... Спустя месяц, ценой огромных усилий, не имея за спиной ничего, кроме сбивчивых рассказов, нам все же удалось отыскать эту фигуру.

– Невероятно, – пробормотал профессор.

– Это не все. Со слов преступников следует, что они видели бредущего по лесу обнаженного человека, восставшего, по их заверениям, из камня.

– Голема? – усмехнулся профессор. – Но, вы то, я надеюсь, не верите таким рассказам?

Ливнев молчал. И от этого молчания Фридриху Карловичу сделалось не по себе.

– Я верю фактам, а они, как известно, вещь упрямая. Подобных случаев мы фиксируем десятки, сотни в год. И, зачастую, за небылицами и, как вы изволили, рассказами, кроются воистину необъяснимые явления, иногда и с вещественными свидетельствами. Наука от них отрешивается, церковь валит все на божий промысел, невразумительно бубнит про покаяние и геенну, разного рода знахари и шаманы уверяют, что им все доподлинно известно, значительно надувают щеки, пучат глаза, но этим дело и ограничивается... Что вы прикажете делать? Отрицать неведомое? Зарываться головой в песок? Наша цель, если не употребить загадочные силы на пользу государству, то, хотя бы, отыскать способы защиты от них... Фридрих Карлович, любезный! Я изложил вам всю информацию, которой располагаю, но вовсе не для того, чтобы произвести впечатление или напугать. Я весьма высоко оцениваю ваши способности, и буду крайне признателен, если вы поделитесь со мною гипотезами, которые могут возникнуть с течением времени.

– Всенепременно, Матвей Нилыч, – заверил профессор, принимая визитную карточку. – Всенепременно...

На следующее утро экспедиция снялась с места, а Фридрих Карлович отправился обратно в Петербург. Он не знал, что Ливнев разослал по окрестным деревням своих агентов, снабженных гипсовыми слепками рук, снятыми с таинственного рельефа. На особенно удачно отпечатавшихся мизинце и безымянном пальце, при взгляде через увеличительное стекло, явственно просматривались папиллярные линии...

* * *

– Шабаш, мужики! Обед! – объявил Кирилец, хозяйский приказчик, хитрован и пройдоха.

Савка и ухом не повел, продолжая утаптывать песок подле вкопанного осинового столба. Достраивать забор придется уже не всем, из семерых останутся в работниках только трое. Дед Савки, Кондрат, заставил выучить назубок нехитрые приемы найма: «Не бросай дело сразу – гвоздь добей, борозду допаши. А доведется стояк ставить, то землю кругом так вгони, чтобы ямка сделалась. Это – наипервейшее испытание, коли горку оставил – швах ты, а не работник, коли вровень уравнил – так сляк, а ежели в борозду вбил – самый ты, что ни на есть, справный малый». Савка не щадил каблуков. «Вон, Кирилец, ощурился, как кот на мыша. Сам тощий, что гусяная шея, а пузень наел – в рубахе тесно».

Приказчик, словно уловив чужие мысли, подтянул веревочную перевязь под нависшим каплей животом, одернул горошчатую сорочку, и, помахивая картузом, зашагал к людской кухне, откуда уже тянуло сводящими нутро запахами.

За широким столом со свежеструганными березовыми столешницами разместились просторно, не теснясь локтями. Савка особо по сторонам не зыркал, сосредоточась на работе, но все, на что падал глаз в хозяйстве, отдавало основательностью и добротностью. Лавки и те, в четыре пальца толщиной, тяжелые, сядь на край – не обернется, а гладкие, что щечки младенца. Вот так, по виду, и не скажешь, что заправляет здесь баба. Объявилась в Антоновке в начале осени, по слухам, вдова не то купца, не то генерала, купила дом, прирезала изрядный клин земли, открыла лавку, сейчас, вон, строится.

Розовощекая пышнотелая кухарка поставила перед Савкой большую глиняную плошку пшенной каши на постном масле. Кадка моченой редьки, свежий каравай, да жбан с квасом

– вот и весь хозяйский обед, зато всего от души, ешь, сколько влезет. Савка черпал кашу степенно, неторопливо, как наказывал дед. Здесь тоже важно было не прогадать, ведь какой ты едок, такой и работник. Кто много ест, тот хорошо работает. Вздохнув, Савка смахнул со лба бисеринки пота, послабил кушак, но все ж осилил пшенку, положил, облизав, ложку.

Отобедав, мужики расположились на завалинке, задымили махоркой. Савку тоже угостили серым крупнолистным табаком. Неумелыми пальцами он свернул самокрутку и пыхнул сизым облаком. Нутро продрало, из глаз выступили слезы, просипел:

– Благодарствую!..

Курить он не любил, но отказаться от угощения из вежливости не решился.

Хороший сего лета выдался октябрь, сухой, теплый: по ночам уже пощипывали заморозки, но ясными безветренными днями кислое, низкое солнышко еще припекало. Ярко отблескивали, заставляя жмуриться, листы жести на крыше новехонького, с торчащим меж бревен мхом, амбара. Перестукивались топорами плотники, достраивающие теплую конюшню, торопились успеть до холодов.

– Кирилец идет! – возвестил кто-то.

Приказчик приблизился, постукивая веточкой по сапогу, презрительно цыкнул слюной сквозь зубы:

– Кому Кирилец, а кому Кирилл Тимофеевич...

Маленькие текучие, как ручей, глазки обвели работников, остановились на двух мужиках, торопливо стянувших шапки.

– Ты и ты... И ты, – палец ткнул в Савку, на котором шапки не было вовсе. – Остальные – гуляйте!..

Пятый день рыли погреб. Да не просто погреб, а целый подземный зал, где без труда разместилась бы людская с кухней в придачу, да еще и осталось бы место. Работали не только весь видный день, начиная от серого рассвета и до самого до темна, но и после, при свете костров. Вчера Савка получил первый свой расчет, лишку не добавили, но заплатили честно. Отнес гордо деду, всучил, якобы между делом, да и уснул без задних ног, даже не вечерял.

На отполированный штык лопаты, рубившей красноватый неподатливый суглинок, упала тень: на краю ямы, деловито подбоченясь, стояла хозяйка, обозревая фронт работ. Темное кисейное платье, приталенное у самой груди, закрывало ее шею и руки; на плечи накинута вишневая шаль, а волосы тщательно забраны парчовым платком. Савка видел хозяйку все больше издали, а то и просто слышал зычный голос (много ли узришь из ямы?), но вблизи она показалась совсем не старой, едва ли старше тридцати, и даже вполне ничего себе. Статная, широкая в груди, она словно дышала здоровьем и силой, молоком и кровью. Бьющее в глаза солнце мешало рассмотреть лицо, и Савка опустил взгляд на нетерпеливо постукивающий оземь потертый сапожок, выглядывающий из-под плотных юбок.

– Вы ба, хозяйка, отошли с краю-то. Обшахнетесь еще, не приведи Господь...

– Ишь ты, – купчиха смерила Савку взглядом, – заботливый!.. Когда закончите, мужики?

Чубатый хохол Мыкола стянул шапку, поскреб задумчиво бритую голову и ответил за всех:

– Ишшо дни тры.

– А ну, как дожди пойдут? Обрухнут стенки-то поди?

– Опалубку поставим, – пробасил Мыкола. – Не впервой погреба копать.

– Ну, добро, добро, – купчиха снова окатила Савку взглядом и повернулась уходить. –

Кирила! Сукин сын! Ты где шлялся?

– Я, Евдокия Егоровна, здесья вот...

– Опять, дармоед, на кухне терся? Отчего бычок хромает, а? Конюх не доглядел? А что мне конюх? На то ты здесь поставлен, чтобы справу вести! Слушать не желаю! Что хочешь

делай, хоть знахарку веди, хоть сам в ярмо впрягайся, но к завтраму утру четыре подводы мне вынь и положи!..

– Так его, так, – покивал Мыкола, улыбаясь в вислые пшеничные усы. – Эх, не баба – огонь! Я б с такой на сеновал сходил! – Мыкола шмыгнул носом. – Разы два...

Мерно поскрипывала упряжь, навевая сон. Деревянное колесо, окованное железом, резало пыль как лодочный нос стоялую воду. Савка послабил вожжи: волю топали дорогой сами, понуро опутив кучерявые лбы, покачивали тощими задницами, вбивая в землю раздвоенные копыта. Даже неумные метелки хвостов безвольно болтались плетями. Далеко позади осталась Антоновка, близлежащие хутора. Окрестясь, выехали со двора на вечер, с тем, чтобы ехать ночь, день, после еще ночь и к утру оказаться во Владимире, где на Покрова затевалась большая ярмарка. С собой везли кое-какой товар: сбитое на своей маслобойне сливочное масло, обложенное льдом в плотно закупоренных ящиках; желтые головы сыра, дырчатые, скрипучие, с выступившей слезой; липовые кадушки с темным гречишным медом; яблоки и яйца, убранные соломой; клетки с птицей; розовые, пересыпанные солью пласты сала; сплетенный в косички золотистый лук; нитки сушеных грибов.

Хозяйка полагала, что товара будет больше, и пустое место на подводах пришлось спешно заполнять, чем можно. Местные мастеровые, горшечники, кузнецы выгоду свою упускать не захотели, собрались в складчину и решили отправиться на ярмарку самостоятельно. Не скоро еще будет такое торжище.

– Не рано ли ты, Егоровна? – окликнул антоновский купец Ухватов, когда обоз поравнялся с его подворьем. – Погодила бы, утрецом вместе бы двинули!

Недавно Карп Силыч натянул свое состояние до второй гильдии, чем страшно гордился. В сюртуке темно-синего сукна, в картузе с лакированным козырьком, широко расставив ноги, он щупал глазами чужой товар и втихую посмеивался в бороду. Не за свое дело взялась эта розовощекая молодуха, сидела бы дома, рожала детей, и была бы, скажем, за таким, как он, Карп Силыч, словно у Христа за пазухой. Коммерция, она все равно, что власть, благоволит крепкому мужику.

– Я, Карп Силыч, поспешать не люблю, – Евдокия наградила новоявленного гильдийца белозубой улыбкой. – Она, ведь, спешка-то, только при ловле блох важна!..

– И то верно...

Войдя по высокому крыльцу в дом, Ухватов плюхнулся на лавку, и, бросив недовольный взгляд на безобразно растолстевшую супругу, хватил кулаком по столу, от чего жалобно задрезжала посуда в горнице:

– Мы вечерять сегодня станем, али нет?!..

Савка в обоз не просился. Хозяйка самолично подошла, улыбнулась, от чего на щеках, залитых румянцем, обозначились две ямочки, и спросила:

– Тебя звать-то как?

– Савка... Савелий...

– Возницей пойдешь во Владимир?

– Пойду, – Савка дернул плечом. – От чего ж?..

А сейчас жалел. Он никогда не забирался так далеко от дома. А тут еще солнце скрылось за черной каймой леса, на землю упала густеющая мгла, и от этого делалось как-то не по себе. Савка покосился на Евдокию, сидевшую с ним на одной подводе. «Может, она на меня глаз положила?», подумалось ему. Голубоглазый, с копной соломенных волос Савка красавцем себя не считал, однако ж давно ловил на себе девичьи взгляды.

На передней подводе затянули песню. Тоненько, пронзительно выводила кухарка Матрена, да вторил густым басом Мыкола. Голоса сплетались, плыли над обозом и увязали в темноте. Евдокия, заслушавшись, чуть склонила голову на бок и неотрывно глядела на молодые,

едва взошедшие звезды. Савке показалось, что по щеке ее, блеснув в меркнушем свете серебряной дорожкой, скатилась слеза...

Брички, коляски, подводы, груженные и порожние, конный и пеший люд – все стекались во Владимир. К центру рыночной площади было не пробиться уже с вечера пятницы. Там деловито разворачивали палатки, перекачивали бочки, тюки, выкладывали штабелями мешки и ящики. Фыркали лошади, утробно ревели понукаемые хвостостинами волю; над серой суетой стлался многоголосый гул, перекричать который силился бранившийся с кем-то урядник, уже успевший осипнуть. Повозки сцеплялись углами, запирали и без того узкое горлышко проходов, то тут, то там вспыхивали свары, но до рукоприкладства дело не доходило, вдоволь накричавшись, возницы разъезжались с богом. От напряжения Савка взмок, вертел во все стороны головой, стараясь не стоптать ногами прохожих, отчаянно лезущих под колеса. Вдоволь намытарившись по беспокойному людскому муравейнику, пристроились, наконец, с краю, подле суконных рядов. Люди жгли костры, варили пищу, предприимчивые мальчишки разносили кипяток по копейке за ведро, выстрелами доносились звучные хлопки первых сделок (купцы рук не жалели), все прибывал и прибывал народ.

Едва показались первые лучи солнца, как торговище преобразилось, распустилось яркими цветами нарядных платков, пестрыми коврами, золотыми узорами парчи, забелело кружевами. Зазвенели бубенцы, лихими переливами зашлась гармошка, завертелись скомо-рохи, на площадь хлынули празднично разодетые горожане, закурились дымы походных кузен, запели оглаживаемые молотобойцами наковальни. Торговцы вышибали днища бочек с квасом, сбитнем, хмельным медом; горы горячих, только из печи баранок, кулебяк, ватрушек, пирогов со всевозможной начинкой оттягивали плечи лотошников. Гул перерос в гвалт, у первых роготеев срезали первые кошельки, и лоскутное море ярмарки закипело, закружилось водоворотами.

Евдокия раздвигала толчею как горячий нож масло, оттерла могучей грудью какого-то мужика, не пожелавшего уступить дорогу. Тот попытался было запротестовать, но сумел выдать только сдавленное: «и-и-их!». Савка, назначенный в провожатые, едва поспевал за хозяйкой, удивляясь, как же она ориентируется посреди этого взбалмошного разноцветья. Торговали всем. Если ближе к центру ряды купцов подчинялись хоть какому-то порядку, то на окраинах перемешалось все и вся: проходы ломались, петляли, сужались до невозможности, а то и вовсе заканчивались тупиком. Евдокия, неоднократно обежавшая торговище еще с вечера, то и дело останавливалась, слюнявила карандашный огрызок и старательно делала у себя в блокноте какие-то пометки.

Савка на миг прищурился, пошептал губами, складывая буквы в слова. «КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ» – значилось на вывеске, под которую свернула Евдокия. Здесь торговали заморским табаком, чаем, пряностями, волнами переливающимся на солнце шелком, бумагой, диковинными узорчатыми кувшинами с длинными носиками и Бог знает, чем еще. Народу толпилось вдоволь, но расставаться с деньгами никто не спешил: все больше глазели, приценивались, ожидая, когда спадут заломленные цены.

– Здравствовать желаю! – окликнул собственной персоной Ухватов, степенно коснулся околышка картуза, обозначил Евдокии поклон. – Рыбак рыбака видит издалека! – покосился на Савку, значительно теребя золотую цепочку на брюхе, и огладил седеющую бороду.

Позади переминались с ноги на ногу купеческие сыновья, взятые на ярмарку для приобретения к коммерческому делу; пухлогубые, толстощечие, под стать отцу в поддевках, в скрипучих, с подсыпанным в подошву песком, сапогах, смазанных для блеску салом.

– И ты здравствуй, Карп Силыч! – Евдокия слегка склонила голову в ответ.

– Хоро-ош нынче чаек, – протянул Ухватов. – Да уж больно дорог.

– А почему же просят? – Евдокия помяла в пальцах черные жесткие листья, свернувшиеся трубочкой.

– По два тридцати за фунт.

– Бери, не думай, красавица, – блеснул зубами продавец. – Чаек самый, что ни наесть, сухой, чистый! Из самого Нижнего Новгорода везли, последний у китайцев забрали. Теперь уж не скоро будет...

Евдокия нахмурилась. Задумчиво покусывая сухую былку, она полистала свой блокнот, что-то пораскинула на листе. Обошла кругом чайных торговцев, с каждым перекинувшись парой фраз, после вернулась и обратилась к Ухватову:

– Карп Силыч, не ссудишь ли ты мне в долг?

– Хе-хе-хе! – рассмеялся тот. – Аль на обновку не хватает? Хе-хе! Дам, от чего ж не дать? Соседи, как никак, – Ухватов игриво подмигнул. – Сколько же ты хочешь, Евдокия Егоровна?

– Две тысячи рублей.

– Сколько? – Ухватов закашлялся. – Пошто тебе столько?

– Дашь?

– Сумма не малая, – Ухватов потер лоб. – Чем ответишь?

– Всем. Дом, постройки, лавка, товар в обороте – все твое. Закладную изволь хоть сейчас.

Карп Силыч задумался. Он давно заглядывался на быстро растущее хозяйство купчихи, угадывая в ней будущего конкурента. Хороший дом с новыми постройками, изрядный клин земли, бойкая лавка в купе с маслобойней являли собой весьма и весьма лакомый кусок. С другой стороны, в раз вынуть из оборота такие деньжищи – не штука. Но, представив, как эта спелая, сочная молодуха станет ползать у него в ногах, умоляя об отсрочке платежа, решил:

– Идет!

Здесь же отыскали стряпчего, оформили расписку, по которой все имущество Евдокии Егоровны Кулаковой, вдовицы в случае неуплаты в месячный срок двух тысяч рублей плюс девяти процентов отходило в пользу купца второй гильдии Карпа Силыча Ухватова. Бережно сложив листок с едва обсохшими чернилами, Ухватов упрятал его куда-то в недра своего сюртука, оттуда же, порывшись, извлек пухлую пачку ассигнаций. Повернувшись в пол оборота, отслонявил, мелко перебирая пальцами двадцать сотенных бумажек, и вручил Евдокии, внутренне ощущая, будто кидает наживку крупной рыбе.

У Савки, широкой своей спиной заслонявшего свершение сделки от любопытных взглядов, при виде таких деньжищ отвисла челюсть.

– Варезку закрой, – посоветовала Евдокия, – муха залетит, – и напрямик направилась к чайным торговцам. – Беру! – с ходу заявила она, протиснувшись сквозь толпу.

– Сколько вешать, красавица?

– А сколько есть?

– Хм, – опешил продавец, – шесть цибиков имею по пятидесяти фунтов.

– По два целковых беру всю партию!

– Ишь, ты!.. – продавец поскреб затылок. – Хватила!..

Поторговавшись несколько минут, сошлись по два десять за фунт, ударили по рукам, и Савка остался на страже шести ящиков первосортного чая, за каждый из которых можно было справиться хорошего строевого коня.

– Что ж ты делаешь! – не выдержал Ухватов, провожая взглядом поменявшие владельца ассигнации, схватил Евдокию за локоть. – Откажись, пока не поздно! За сто лет стоилицы не продашь!

– Охолопись маленько, Карп Силыч! Свои деньги плачу. А ну, давай, купцы, у кого еще чай?..

Расторговавшиеся нижегородцы перемигивались, подсчитывая выгоду, шутейно разводили руками, да украдкой крутили пальцами у виска; задрав кверху бороды, провожали

глазами огромный, груженный копом воз, медленно, подобно индийскому слону, пробирался сквозь толпу. Выходка самоуверенной румяной купчихи не просто граничила с глупостью, а отдавала безрассудством. Стал расходиться собравшийся было вокруг люд, и только Ухватов, закатив очи, прикидывал, сколько же деньжищ ввалила неразумная баба за двадцать восемь ящичков, и что ему, Карпу Силычу, делать через месяц с такой прорвой чая.

– Воистину говорят, – крикнул он, – волос долог, да ум короток!.. Ну, да ладно, мне только на руку, – защемив золотую цепочку пальцами, Ухватов двинулся по своим делам. – Лишь ба только плесенью не взялся...

Привезенный из Антоновки товар разошелся быстро. По восемнадцати рублей за пуд разобрали масло, смели сыр, с выгодой распродали остальное. Довольная раскрасневшаяся Матрена, утирая фартуком масляные руки, сдала выручку, обмоталась пестрым платком и отправилась гулять по рядам. К вечеру субботы лишь гора ящичков высилась за опустевшими подводами. Савка замысла Евдокии не понимал, но в свою хозяйку верил твердо, ожидая какого-нибудь особенного, хитрого распоряжения, едва ли не священнодействия, после которого разом потекут в карман баснословные барыши. И такое распоряжение последовало. Савка получил три рубля и наказ купить полмешка хороших каленых орехов. К выполнению задачи он отнесся со всей своей старательностью и тщанием, обегал все торговщице, прежде чем прихлопнул на спине изрядных размеров клунок.

Евдокия Егоровна удобно расположилась на охапке сена, привалившись спиной к штабелю ящичков, и на косые усмешки проходящих смачно пересыпала кедровой скорлупой. Первый ярмарочный день клонился к вечеру, а меж тем, на чайные листья обозначился острый дефицит. Цена взлетела до двух рублей пятидесяти копеек за фунт, торговцы вытряхивали мешки, выколачивая чайную пыль; смели даже третьесортную супесь, разбавленную для веса сенной мякиной.

Первыми спохватились нижегородцы. Явились делегацией и предложили выкупить свой товар обратно, посулив аж сто целковых сверху. Но были встречены скорлупой, расплевались и убралась ни с чем.

В воскресенье с раннего утра пожаловал Ухватов, эскортируемый дородными сыновьями, и обратился в Евдокии с предложением, от которого она, по его, Ухатова, твердому убеждению, не могла отказаться:

– А не продашь ли мне, Егоровна, цибик чайку?

– Изволь, – ответствовала та. – Два девяносто за фунт нонче. Но тебе, как соседу, десять копеек скину.

Ухватов зашелся спазмами, беззвучно глотая воздух большими порциями, побагровел, и зашагал прочь, не проронив ни слова.

Вокруг чайной горы начал собираться люд.

– От чего ж не торгуете? – вопрошали самые беспокойные.

– Успеется, – лениво тянулась за новой пригоршней орехов Евдокия.

Предприимчивые горожане бегали по домам, соскребая по закромам чайные крохи, лотошники вместо обычной полушки за стакан чая брали по пятаку, а нижегородские купцы с досады рвали бороды. Работники Евдокии ерзали, как на иголках, переживали, бросали быстрые взгляды то на ящички, то на толпу, то на хозяйку. Но та оставалась невозмутимой.

Мешок орехов закончился аккурат к полудню. Евдокия почмокала, отерла губы и велела:

– Матрена, начинай, что ль развешивать...

Толпа подалась было к весам, но, узнав цену, откатилась в нерешительности назад.

– Два девяносто за фунт... Вот упыри!

– М-да, попиваешь ноне чайку...

– Хозяйка, – зашептал Мыкола на ухо: – Треба цену снижаты!

– Ну-ну... Объяви-ка по три рубля за фунт.

Вокруг повисла тишина, натянулась струной, до предела, до скрипа, до стога натянулась и лопнула:

– Беру!!! – заверещал какой-то мужичок, не выдержавший первым. – Пять фунтов вещей!..

И как лавина сходит за маленьким камешком, следом кинулся, давясь и толкаясь, разномастный люд. Торговали с двух весов, Савка взмок, подтаскивая и распечатывая все новые и новые цибики, а поток желающих не ослабевал.

Вперед протиснулся, неся бороду на пузе, толстый поп, узрел цену, схватился за крест:

– Ах, ты ж, царица небесная...

– Неурожай, батюшка, – пробасил Мыкола. – Усе пожрав долгоносик!

Спустя пару часов, когда ушла добрая половина штабеля, спрос поутих. Затарившись, отвалились состоятельные горожане, и только наезжие купцы, думающие с выгодой перепродать чай по своим лавкам да торговым местечкам, прохаживались подле, морщились, бросая на продавцов досадливые взгляды.

– А ну, оптовики! – закричала Евдокия, набрав побольше воздуха, отчего разъехалась на груди пуговка, да встрепенулись с колокольни голуби: – От полцибика по два шестьдесят уступлю!

Купцы покрякали, пожались, но деваться было не куда, и один за другим потянулись к весам, распуская тугие кошельки. Последним стал пожелтевший лицом Ухватов. От того, что на его глазах, на его деньги сметливая оборотистая молодуха собирает такой выпуклый барыш, с ним едва не случился апоплексический удар.

Евдокия, убедившись, что чайные запасы исправно тают, кликнула троих мужиков из обоза и отправилась по закупкам. Солнце перевалило за полдень, обещая скорый осенний вечер. Продавцы торопились сплавить товар и особо не торговались. Евдокия брала сукно, соль, табак, чернослив, изюм, разного рода сласти, железные ведра, чугуны, косы, ножи, конную упряжь, мыло, гребни, бусы, зеркальца, все, за что в Антоновке давали хорошую цену. На посторонние вещи не отвлекалась, равнодушно скользила взглядом по дамским нарядам и украшениям да огибала представления заезжих балаганчиков: оно и понятно, наиболее расторопные купцы уже сворачивались, потихоньку собирались в обратный путь, стремясь выехать засветло; однако, проходя мимо канцелярской лавки, замедлила шаг, задумалась на секунду и решительно шагнула внутрь, чему грузный тяжелыми узлами и баулами Савка, неотрывно следующий за хозяйкой, не зело обрадовался.

Звякнул колокольчик, и за стойкой тот час возник сгорбленный лавочник-еврей, в черной ермолке, из-под которой на бледные щеки ниспадали длинные пейсы, почтительно поклонился:

– Чего изволите-с? – подслеповатые глаза ощупали посетителей, и тонкий горбатый нос безошибочно остановился на статной Евдокии.

Подобострастную улыбку лавочник держал мастерски, хотя нутро его, при виде лапотника-мужика и домостроевской купчихи, сморщилось, как и надежда поймать с них какой-либо гешефт. Такие заглядывали в магазинчик крайне редко и оборот не делали.

Савка, приоткрыв рот, рассматривал диковинные приборы и приспособления, выставленные в шкафчике со стеклянными дверцами, где самое почетное место занимал бинокль фабрики Цейса в корпусе матово отблескивающего желтого металла. Для чего предназначались эти красивые и, наверное, ужасно дорогие вещицы, Савка, убей Бог, не знал.

– Дай-ка мне, любезный, дюжину карандашей! – гаркнула Евдокия. – Да чернил флакон!

– Сию секунду, – лавочник скрылся под прилавком.

– Амбарных книг пару, тетрадей простых десятков, писчей бумаги...

Длинные пальцы проворно плясали по многочисленным скряням и ящикам, безошибочно выхватывая искомое.

– Это чего?! – грозно, будто узрев непристойность, Евдокия ткнула в стеклянный шкаф, указав на хитрый прибор.

– Ах, позвольте, – лавочник деликатно отстранил Савку, отомкнул дверцы. – Сие называется «секстант», если угодно-с... Служит для измерения углов...

– Сколько? – скривившись, перебила Евдокия.

– О-о! Такая дама интересуется наукой! – еврей оживился.

Но масляно заблестевшие глазки довольно быстро поугасли, когда «дама» показала свою способность торговаться.

– Себе в убыток, ей боже! – клялся лавочник, бережно передавая упакованный секстант. – Только ради вас!..

– Это чего?! – стекло вновь жалобно скрипнуло под указующим перстом Евдокии.

– Логарифмическая линейка, для расчетов-с, – отвечивал лавочник.

– Заверни!

– Компас!.. Счеты!.. Простите великодушно – курвиметр!.. – шкафчик пустел. – Чего желаете еще? – лавочник утер пот со лба.

Радость удачной сделки заглушала подорванную уверенность в том, что он, изрядно поживший на этом свете человек, научился разбираться в людях.

– Карты желаю! – заявила Евдокия, и Савке показалось, что сейчас она щелкнет пальцами.

– Все, что есть, – лавочник выложил пухлый ворох трехверсток. – А вот-с, большая карта Российской Империи. Привез специально для здешнего учителя географии, но видит Бог, вам, гм, нужнее, – лавочник многозначительно округлил глаза. – Может, извольте глобус?..

Евдокия изволила все.

При выходе на улицу случилось недоразумение: столкнулись нос к носу с каким-то невзрачным господином с тонюсенькими ниточками усиков на рыхлом пористом лице. Тот машинально приподнял котелок, бормоча дежурные извинения, как вдруг его взгляд упал на лицо Евдокии, да так и застыл на нем.

– А-а! Вот мы и свиделись, голуба! Попалась?

– Не имею чести, – Евдокия попыталась стряхнуть господина с рукава, но тот вцепился в локоть, как клещ.

– Куда?! Куда?! Забыла, как обобрала меня, прошмандовка? Да еще отходила так, что три дня кряду подняться не мог? Забыла? Ну, все! Теперь я тебя на каторгу-то упеку!.. Урядник! Кликните урядника!..

– Ты ба, господин хороший, того, полегше! – Савка оторвал незнакомца в котелке от хозяйки.

– А ну, прочь! Пшел вон, холоп! Давно ли тебя, быдло, на конюшне не пороли?

Савку на конюшне не пороли. Вырос он, хоть и бедным, но свободным, и такие тычки сносить не привык, поэтому от греха подальше, чтобы не приложиться сгоряча по пористой физиономии кулаком, слегка отпихнул от себя неприятного господина, от чего тот, отлетел на несколько шагов и уселся задом в пыль прямо под ноги подоспевшего урядника. Следом прикатился по широкой дуге выпачканный котелок.

– Прекра-атить! – покачиваясь, потребовал красный, как свекла, урядник.

Даже издали было заметно, что представитель власти уже изрядно принявши на грудь, что, в общем-то, в праздничный, да еще и в ярмарочный день, вполне объяснимо. Позади выросли двое городских, привычно подперли по бокам, не давая уряднику упасть. Вокруг, с интересом наблюдая за происходящим, начал собираться народ.

– Я губернский секретарь Кикин, – важно заявил, поднимаясь, господин. – Немедля арестуйте эту женщину, наряженную купчихой, и ее приспешника. Она меня в Муроме до нитки

обобрала, да еще чуть калекой не сделала. А я, между прочим, в дом к самому генерал-губернатору Нагайцеву вхож...

– Тэ-эк-с! – мутные глазки урядника уставились на Евдокию.

– А на самом деле, она вовсе не купчиха никакая, – обличал Кикин, – а продажная девка!..

– Да что же это делается! Люди добрые! – взревела Евдокия. – Среди бела дня! Ах, же ты паразит! Ах, ты сморчок сопливый! – уперев руки в боки, она пошла на обидчика, выставившего перед собой котелок, как щит. – А куда власть смотрит, а? Вы думаете, я на вас управы не найду?!

Урядник, придя в сильное замешательство, и, в качестве временного выхода из ситуации, хорошо поставленным голосом пропел:

– Прекра-атить!..

Решение назрело само собой. Все-таки опыт – великая вещь, его, как известно, не пропьешь.

– Предъявите документы! – изрек урядник, и довольный собой икнул.

– Вот-с, – Кикин протянул бумаги, – вот-с, извольте!.. Двести рубликов, как с куста...

По знакомым на обратную дорогу собирал!.. У-у, шалашовка...

Урядник потянул носом, значительно свел мохнатые брови на переносице и принялся разглядывать документы, держа их вверх ногами.

– А? – беспомощно спросил он через некоторое время городского, что стоял по правую руку.

– Чинуша, – изрек тот. – Без бумаг видать... А то я ж неграмотный...

– Тэк-с, – протянул урядник. – А ваш паспорт, сударыня, хде?

– Нету с собой.

– А-ага! – воскликнул Кикин. – Я же говорил!

– О! – палец урядника указал на небо. – Проясняется!..

– Это что же, – накинулась на урядника Евдокия, – мне без паспорта уже ни в лес, ни в город, ни в огород не выйти? Эдак и в уборную документ носить придется! Кулакова я, Евдокия Егоровна. А не верите, попытайте купца второй гильдии Ухватова, он подтвердит.

– Да, купчиха это, – крикнули из толпы, – из Антоновки. Вон ейный обоз, подле суконных рядов...

– Не верьте, не верьте ей! – не унимался Кикин. – Она – ведьма! Порчу наведет – беды не оберешься!..

– Угу... Ведьма... – покивал урядник. – Порчу...

– Да-да! Руки-ноги отнимаются, все видишь, а подняться не можешь. Лежишь, и, виноват, под себя ходишь... По малой надобности... И по большой...

– М-м!.. Мслт!.. Холера!...

Урядник собирался произнести «милостивый государь», но не смог.

– Что?..

– М-м-м!.. Мозгоклюй!

– Позвольте!.. – попытался возмутится Кикин.

Но было поздно.

– Ты меня за дурака держишь, братец? Комедь ломаешь прилюдно? Я тебе покажу! Ты у меня еще находишься и по большой надобности, и по малой!.. Эй, ребята, а ну, бери его!

Городовые тотчас подхватили под руки губернского секретаря и потащили в участок. Урядник обласкал Евдокию мутными глазами и, между прочим, нашел, что она еще очень ничего. Чувства рвались из груди, их требовалось выразить.

– Сударыня! – нашелся он. – Позвольте мне замереть в глубочайшем пардоне за причиненное недоразумение!

Довольный собой, хотел еще на прощание козырнуть, шелкнув каблуками, но счел благоразумным воздержаться. Схватился за эфес шашки, стараясь не потерять равновесие, развернулся и замаршировал прочь...

Позади, окутанный серой дымкой, остался Владимир. Отвертелись карусели, отплясавшие медведи вернулись в клетки, схлынуло ярмарочное веселье, вернулась в берега, в промытое веками русло размеренная провинциальная жизнь, замедлила течение, осоловела, готовясь вскоре замереть на зиму совсем. Попутные подводки одна за другой съезжали с избитого копытами и колесами большака, растекались по хуторам и весям. Где-то впереди, нахлестывал лошадей Ухватов, стремясь хоть здесь оказаться первым. С угрюмого лица его не сходила тень, не радовала лежащая под сердцем лишняя сотня целковых, заработанная на процентах за неполных два дня. Душила Карпа Сильча жаба, оттого что соседка на ровном месте ухитрилась положить в кошелек до тысячи рублей, сотворенных буквально из воздуха. Ухватов ловил себя на мысли, что, потеряв свою, кровную тысячу, кручинился бы меньше.

Сухая, теплая, как нагретый в руке медный пятак, погода, словно по заказу простоявшая два ярмарочных дня, портилась на глазах. Небо затянуло хмарью, подул с севера ветер, посыпал мелкой моросью, то и дело срывающейся грузными каплями с почерневших осклизлых повозок. Даже изрядный жбан горячего сбитня, пахнущего ржаным хлебом и хмелем, выставленный Евдокией перед отъездом, не грел. Шибанул в головы возницам, вышел заздравными песнями да румянцем на щеках, и иссяк. Вскоре дождь обернулся мокрым снегом, облепил пожухлые травяные кочки белым ковром. Теперь казалось, что свет исходил не с темнеющего неба, а поднимался от земли, укрытой мертвенным холодным саваном.

– Эй, хозяйка, гляди-ка!..

Со стороны близкого леса наперерез обозу, оставляя за собой стежки черных следов, молча, по-волчьи бежало полтора десятка мужиков.

– Эвона, лиходеи-душегубы, – протянул кто-то.

– Плохо дело! – Мыкола достал припрятанную в возе дубинку. – Были бы мы на конях – удрали, а на волах далеко не ускачешь.

– Ружжо бы, – вздохнул Савка.

– Молчи, «ружжо»... Голову бы не сложить...

Испуганных волов завернули под уздцы, подводки обступили кругом. Вооружены были разбойники кто чем: кто обыкновенным кривым батоном, кто пощербленной турецкой саблей, кто топором, кто багром, кто вилами, кто насаженным на кол трехгранным штыком от винтовки. Молодые, старые, разномастно одетые, они походили друг на друга, пожалуй, только отчаянным блеском глаз, который выдавал людей, не страшщихся ни черта, ни Бога, людей, ходящих под виселицей. Вперед выступил, поигрывая кистенем, мужик, по глаза заросший черной кучерявой бородой, в парчовом халате, накинутом поверх овчинного полушубка.

– Здорово, купцы! Чего прижухли? Испужались, небось? Не бойсь, не тронем!.. Так, пощупаем слегка, и ступайте с Богом... Пешком...

По тому, как дружно загготали разбойники, Евдокия поняла, что перед ней атаман.

– Ой, пощупаем! – подхватил один из лиходеев и шлепнул Матрену по ляжке.

Возница, сидевший рядом, замахнулся кнутом и тут же упал с окровавленной головой. Дальнейшее Савка помнил смутно, обрывками, как сквозь сон. Помнил, как Мыкола успел, орудуя дубинкой, пригладить троих, прежде чем повалился сам, словно медведь, одолеваемый сворой собак. Помнил истошный визг Матрены, треск разрываемых юбок. Помнил, как не чувствуя ударов, махал кулаками направо и налево, сквозь розовую пелену видя, как спрыгнула с воза Евдокия, подобрала чей-то кол, и, вращая его, как мельница крылья, ринулась в гущу свалки. Под ударами купчихи, словно сухой хворост, трещали кости, разбойники валились соломенными чучелами, разбрызгивая во все стороны кровавые сопли. Последним, что

врезалось Савке в память, стало разъехавшееся на спине Евдокии платье. А потом наступила темнота...

В голове гудел тяжелый церковный колокол, расходились перед глазами цветные круги, как от брошенного в воду камня. Савка с трудом поднялся, и, сделав несколько шагов, споткнулся обо что-то мягкое. Прямо у его ног, застыл в нелепой позе атаман с проломленным черепом. Курчавые его волосы спеклись сосульками, вокруг растеклась, смешавшись с грязью, красная лужа.

Подле повозки, запрокинув голову набок, лежал Мыкола, булькал розовыми пузырями, закатив глаза, из носа его густой струей шла кровь. Откинув кол, над ним склонилась Евдокия, шарила беспокойными пальцами по лицу искалеченного возницы. «Не жилец», подумал Савка. Он так и стоял в трех шагах, покачиваясь, не в силах оторвать взгляд от товарища.

Меж тем руки купчихи, как два сноровистых паучка, плетущих паутину, пробежали по бритой голове, расстегнули ворот и заплясали по широкой груди. Со стороны казалось, будто Евдокия играет на гусях. Мыкола перестал хрипеть, задышал ровнее, остановилась, идущая носом кровь.

– Так ты и впрямь ведьма? – разлепил Савка разбитые губы.

– Немножко, – блеснули чертовщинкой карие глаза. – Но ты ведь никому не скажешь, правда?

– Не, – помотал головой Савка. – Не скажу...

* * *

Усадьба, как водится, стояла на вершине холма, и из ныне живущих только вековые тополя, ровные и толстые, как колонны парадного входа, помнили ее постройку. С колонн этих, давших пищу для каламбуров по поводу «столбового» дворянства, похожая на растрескавшуюся от старости кору, осыпалась подновляемая с ежегодным постоянством штукатурка; розы крошили корневищами лепные урны, похожие на супницы без крышек; проваливался по весеннему половодью мосток, терпеливо поправляемый мужиками – здесь все подчинялось размеренному сонному ритму, пропитавшему скукой запущенный парк, подворье и дом вместе с обитателями. Медленно, с оттяжкой взлетали топоры, нехотя, лишь из невыразимого чувства долга, кричали кочеты, и даже мухи гудели здесь с какой-то уж особенной ленью.

Собственно, борьбе с сонной одурью и посвящали жизнь хозяева усадьбы – семейство Крутояровых. Бились насмерть. Наводняли дом многочисленными гостями, устраивали шумные балы и приемы, выезжали на охоту в богатые дичью леса. Не одно поколение помещиков погибло в сих неравных ристалищах. Покоились предки под каменными крестами при часовенке, выстроенной еще дедом Николая Платоновича, главы семейства. Вместе с супругой Татьяной Ильинишной растили они двух дочерей, коих постарались научить всему, что может понадобиться незамужней девице дворянского рода, а именно трем вещам: лопотать по-французски, играть на рояле и вышивать на пальцах.

Старшей, Елене минуло двадцать пять, и вопрос о замужестве заострялся с каждым днем. Многочисленные ухажеры, привлеченные богатым приданным и женскими прелестями, коих ни одно платье утаить не могло, вились вокруг Елены словно мотыльки, но все пылкие порывы остужались холодом высокомерия, а наградой за красноречие служил безразличный взгляд в сторону и поджатые губы. Отчаявшись добиться расположения, молодые люди откланивались, про себя величая молчаливую и своенравную Елену не иначе как «кобылицей».

Младшую дочь звали Светланой. Грациозная, гибкая, словно тростник на ветру, она могла ликовать или биться в лихорадке от любого пустяка, широко распахнутые глаза были вечно мокры: слезы горести не успевали высохнуть, а им вдогонку уже катились слезы счастья. Махровая наивность Светланы заставляла вздрагивать видавших виды кавалеров, но в

поверхностные суждения вкладывалось столько мечтательности, искренности и веры, что под их натиском отступала на время пошлость засиженных мухами дней. Светлана любила перед сном, томно постанывая в тон перу, ровным округлым почерком накатать в дневник эссе, страниц, эдак, в пятнадцать, посвященное какому-нибудь гусару N., единожды виденному в позапрошлом году на именинах крестной.

Николай Платонович молился про себя, как бы поскорее пристроить дочерей, к чему прилагал все усилия, зазывая в дом молодых людей всех сословий, мастей и возрастов. Совершенно незнакомый, но неженатый мужчина, заехавший с письмом давнишнего сослуживца даже не к Николаю Платоновичу, а к кому-нибудь из соседей, вполне мог остаться погостить в имении Крутояровых. Однако недолго, буквально месяцок-другой. А с ним заодно и приятели.

Поручик Александр Шмелев, намеревавшийся провести отпуск в поместье родной тетки, и составляющий ему кампанию ротмистр Евгений Ревин, подходили едва ли не под классическое описание кавалеров, ограниченный, но постоянный контингент которых, круглогодично присутствовал в доме. Александр ежедневно строчил тетушке письма, извинялся и обещал не сегодня-завтра предстать пред ясны очи, но не знавшее предела гостеприимство четы Крутояровых затягивало, обволакивало глубокой сонной периной, сковывало движения и волю. Отпуск неумолимо подходил к концу, как и надежда подставить-таки свою макушку под сухие тетушкины губы. Голубоглазый, русоволосый, в великолепно, как перчатка на руке, сидящем мундире, Александр с ходу приударил за Еленой, чему родительская чета высказала единодушное поощрение, не требуя иной платы за пребывание в доме.

По законам жанра Ревину, смирившемуся с потерей быть представленным тетушке друга, не оставалось ничего иного, как обхаживать Светлану. Он исправно говорил комплименты, терпеливо отстаивал у рояля, пока растопыренные пальчики Светланы Николавны давили клавиши, и после обязательно к этим пальчикам прикладывался, касаясь кудрями изможденной в музыкальном экстазе кисти. Но напора Ревин не проявлял и не то, чтобы влачился за младшей Крутояровой, а так, вяло подволакивался. Однако неожиданно для всех, Светлана узрела в темноглазом брюнете объект, ни с того, ни с сего принялась заливаться румянцем и удвоила количество исписываемых перед сном страниц.

Сей, никем не оставшийся незамеченным, факт негативно отразился на самочувствии друга детства, сыне покойного приятеля Николая Платоновича, а ныне петербургском студенте Андрее Загоруйко. Самый преданный воздыхатель Светланы наезжал к Крутояровым чаще других и подолгу гостил в имении, ревниво воспринимая визиты прочих ухажеров. Както, собравшись с духом, он даже составил с Николаем Платоновичем разговор, в котором признался, что давно в Светлану влюблен и готов ей составить партию до конца дней своих, а также, «из человеколюбия», просил воздержаться от приглашения в дом «иных мужчин», смущающих, по его заверениям, молодую девушку, и мешающих ей определиться с выбором. Николай Платонович юношу внимательно выслушал и даже по-отечески пустил слезу, но просьбам о содействии не внял: по его мнению, худой, болезненно-бледный, с огромными глазами Андрей, не имеющий, к тому же, гроша за душой, являлся не лучшим кандидатом на роль жениха.

Сейчас Загоруйко, вперив страдальческий взгляд вдаль, сидел в углу залы и сочинял очередную записку, великое множество которых скопилось в покоях Светланы Николавны. В плетеном кресле, вальяжно закинув ногу на ногу, расположился Федор Павлович Шлепков, богатый судовладелец и фабрикант, бывший проездом, и также застрявший погостить. Минуту назад он вяло пикировался с Загоруйко на тему любви вне брака, небрежно помахивал газетой и всем своим видом демонстрировал скуку. На ухоженном, тщательно выбритом лице его застыла рассеянная улыбка. Глядя на Федора Павловича можно было подумать, что тот все чего-то ждал, чего-то особенного, остренького, пикантного, выискивал повод лишний раз щекотнуть нервишки. Его хищный орлиный нос сейчас смотрел в сторону круглого стола,

покрытого плотным зеленым сукном, где под низким бахромчатым абажуром, расписывали пульку. Расписывали не спеша, обстоятельно, со знанием дела, мусоля вишневые мундштуки и пуская сизые клубы дыма. Играли «по маленькой», по целковому за вист. Компанию Николаю Платоновичу составляли соседи, помещик Сивохин, субъект с лицом нездорового синеватого оттенка, и отставной генерал Коровин, то и дело окручивающий пожелтевшие прокуренные усы. Четвертым к партии присоединился Ревин.

– ...Вы, ротмистр, сами не понимаете того, что говорите, – Коровин был явно раздосадован. То ли словами Ревина, к которому обращался исключительно по званию, подчеркивая, видимо, свой отставной статус, то ли тремя взятками, хладнокровно впихнутыми генералу на мизере. – Послушать вас, так можно подумать, что железки сами собой войну выиграют...

– Да, да, – скорбно поддакивал Николай Платонович, уставясь в карты.

Ему сегодня тоже не везло.

– Ценю ваш боевой опыт, Глеб Максимович, – Ревин, напротив, величал Коровина исключительно по имени отчеству, – но при всем моем уважении, точку зрения вашу не разделяю. Ибо кавалерист, вооруженный вместо шашки карабином, даст сто очков кряду любому, даже самому отчаянному рубака...

– Вздор! – недовольно перебил Коровин. – Оружие кавалериста – его конь! Удаль, отвага да верная рука!.. Бывало, и-эхх!.. Эскадрон!!! Лавой!!! – генерал, округлив разом остекленевшие глаза, наотмашь взмахнул рукой, от чего со стола опрокинулся графин с вином.

– А меж тем, – продолжал Ревин, окинув взглядом расползающееся по ковру темно-красное пятно, – в Новом Свете еще в сороковом году под местечком с забавным слуху названием Педерналес всего пятнадцать американских рейнджеров, благодаря тому же огнестрельному оружию, одержали верх над семью десятками команчей.

– У-ха-ха-ха! – зашелся приступом хриплого смеха Коровин. – Хо-хо! Где уж нам с дикарями, пардон, с голозадыми справиться! Да, ротмистр, это вы хватили!..

Ревин пожал плечами.

– Немцы, англичане строят нарезную артиллерию, у нас же – сплошь гладкоствольная. Американский солдат имеет револьвер, а то и все два, с середины века, у нас же такая роскошь полагается лишь офицерам, к тому же, виноват, за свои средства. В европейских армиях стоят на вооружении скорострельные картечники, а у нас о таком чуде слухом не слыхивали. Оно и понятно, гораздо привычнее шашка, пика да шестилинейное ружье, которое ввиду извечного недостатка патронов, используется, большей частью, как древко для штыка...

– Это не потому ли мы и пруссака, и француза бивали?! – возвысил голос Коровин. – Бивали и впредь бивать будем!.. Еще отец наш и учитель Александр Васильевич Суворов говорил, что пуля – дура! Штык! – победно воскликнул генерал. – Штык – молодец!..

– Bravo! – зааплодировал Загоруйко. – Bravo! – и бросил на Ревина, в лице которого видел соперника, уничижительный взгляд.

– Боюсь, – потянулся в кресле Шлепков, вяло следивший за разговором, – тут все дело в средствах. Сколько солдат можно одеть, обути и поставить в строй за деньги, потраченные на одну такую картечницу?

– Вот тут вы правы! – кивнул Ревин. – Каждая держава воюет, чем богата! Россия-мать родит солдат исправно!.. Чего же их жалеть?..

– Господа, полноте! – примиряюще вскинул руки Николай Платонович. – Будет вам!.. Играю семь без козырей!..

...Скорые сумерки упали на парк, смешались с осенней прелью, загустились, зачернели. В этот глухой угол не вели дорожки, сюда не забредет, прогуливаясь, случайный человек. Андрей Загоруйко стоял, уткнувшись лбом в осину, и по лицу его неудержимо катились слезы. Несколько минут назад он встретил Светлану с этим... Встретил не то чтобы случайно, вроде

как искал, под предлогом сообщить что-то важное, уже вылетевшее из головы. А сказать по правде – следил. Вылетел на тропинку и обмер, мир закружился и рухнул: Светлана, Светлана, которую он боготворил, Светлана, к которой не смел прикоснуться и в мыслях, повисла, как какая-то кокотка, на шее у Ревина, у этого солдафона и выскочки. Но мало того, их губы сцепились в бесконечном сумасшедшем поцелуе.

– Я его вызову, клянусь! – шептали как заклинание губы.

Но Загоруйко точно знал – не вызовет, не сможет. Бессильная злость и обида душили его. «Уехать!», была первая мысль. «Бросить все, забыть и никогда боле не появляться в этом доме!» Загоруйко даже представил свое прощальное письмо листках на шести, представил, как желает счастья и объявляет о своем, из благородства, уходе.

«Но она ведь так наивна!», думал он. «И совсем еще не разбирается в людях! Он – гусар, гуляка. Светлана не будет с ним счастлива. Бросить ее на произвол судьбы – какая низость!»

Ноги сами понесли Загоруйко к дому. «Пусть он убьет меня на дуэли! Если так угодно Всевышнему – пусть! Жизнь все равно утратила для меня всяческую ценность и смысл!» Но с каждым шагом уверенность Загоруйко иссякала, подтаивала, как сосулька на мартовском солнце.

– Приятный вечер, не правда ли?..

Загоруйко, погруженный в свои мысли, не заметил Шлепкова, попыхивающего трубкой, и пролетел мимо.

– Да... Изумительный...

В гостиной колыхнулась штора, и Загоруйко отшатнулся от луча света, упавшего на лицо. Повисла неловкая пауза.

– Эх, молодой человек...

– Оставьте, Федор Палыч! – перебил Загоруйко. – Я не нуждаюсь в утешениях! – и замолчал, чтобы не разрыдаться.

– А я и не собирался вас утешать! Напротив! Вы сами во всем и виноваты! Нужно бороться! Зубами выгрызть себе место под солнцем! Наивно предполагать, что счастье свалится вам в руки само. Мужчина вы, в конце концов, или нет?..

– Но позвольте, – пролепетал Загоруйко, – неужели все так заметно?..

– Тоже мне, тайны мадридского двора! – Шлепков фыркнул. – Психологический этюд... Тут же все как на ладони, как мошки под увеличительным стеклом... Скажу вам, час назад Светлана Николавна и Евгений, как его там по батюшке... вернулись с прогулки. Однако, – Шлепков позволил себе выразительный жест, – подошли к дому порознь, и, хе-хе, с разных сторон. Это о чем-то да говорит!..

– Спасибо! Вы правы! Спасибо, Федор Палыч! – Андрей горячо потряс руку Шлепкову. – Я должен идти!

– Не наделайте глупостей!..

Шлепков проводил удаляющуюся фигуру взглядом и усмехнулся. «Ну же! Ну же! Наделайте!.. Сделай хоть что-нибудь, бесхребетный мечтатель, трус! Где шекспировские страсти? Где горячие слова, где перчатка в лицо? Где бессонные ночи, липкий холодок утра, страхом сползающий по спине? «Не желаете ли примириться? Сходитесь!...» И одинокий выстрел, вспугнувший стаю воронья, и слезы безутешной возлюбленной: «Ах, вы убили его!...»

Шлепков зевнул: «Боже! Как же здесь скучно!»

– ...Ответьте только на один вопрос, вы ее любите?

Загоруйко дышал тяжело и часто. Он был бледен той крайней степенью волнения, за которой наступает либо безумие, либо обморок.

Напротив, сложив руки на груди, стоял Ревин. Сейчас бы самое время высказать в лицо обидчику все заученные перед зеркалом фразы, но язык отчего-то отказывался ворочаться, а

мысли подло расползлись по щелям подобно змеям. Хуже того, Андрей не чувствовал к Ревину никакой ненависти.

– Вы любите ее? – повторил Загоруйко и устыдился своего дрогнувшего голоса.

– Нет, – покачал головой Ревин. – Не люблю.

– Как... Как же тогда...

– Как же тогда я посмел? Вы это имеете в виду? – Ревин нахмурился. – Послушайте, молодой человек. Вот что я вам скажу. Через несколько дней мы с моим другом уедем, и я клянусь, что боле никогда не появлюсь в этом доме. Поверьте, чувства Светланы Николаовны для меня явились в высшей степени неожиданностью. Мне нечем на них ответить. Отецеская опека, симпатия – это, пожалуй, все, что я испытываю к этому милому созданию. Но, оттолкнув ее, я нанес бы девичьему сердцу глубокую рану, непременно переросшую бы в смертельную обиду и уверенность в собственной неполноценности. Уверяю вас, пройдет время, и Светлана Николаовна не вспомнит обо мне... Прошу вас, не мните вы эту перчатку, уберите подальше от греха!..

– Вы лгали ей...

– Я не сказал ей ничего такого, о чем жалею сейчас или пожалею в будущем. Однако хочу заметить, что перед вами отчета в своих поступках не несу никакого.

– Вы – подлец! – промямлил Загоруйко. – Я требую удовлетворения!..

– Простите, не расслышал ваших последних слов, – Ревин буравил собеседника взглядом. – Но если вы решите повторить их при свидетелях, я убью вас.

Ревин коротко поклонился и вышел.

«Позор! Боже, какой позор!», Загоруйко без сил прислонился к стене и обхватил голову руками.

На следующий день Загоруйко не вышел ни к завтраку, ни к обеду, а после и вовсе, ни с кем не простившись, уехал, послав Николаю Платоновичу записку. Об этом посудачили и благополучно забыли. Однако дальнейшие события приняли неожиданный оборот. Вскоре Загоруйко появился вновь, да не один. С ним приехал некто Бисер Талманский, высокий черноглазый красавец болгарских кровей и благородного происхождения. Из-под широкого ворота белоснежной рубашки кучерявились волосы, во взоре плясал дикий огонь, а голос лил густым медом. Стоит ли упоминать, что Крутояровы приняли Талманского со всем радушием! Оказался он картежником, был не дурак на счет выпить, и сразу же бросился в атаку, явно положив глаз на Светлану.

Андрей ходил бледный, как смерть, появлялся на людях редко, почти ничего не ел, и только неотрывно глядел на Светлану взглядом, полным отчаяния загнанного зверя. Татьяна Ильинишна даже поинтересовалась, не болен ли часом он, и не нужно ли послать за доктором. Для всех оставалось загадкой, зачем же ревнивец Загоруйко притащил с собой потенциального соперника. Генерал Коровин считал, что Андрей проигрался в карты и ввел Талманского в дом Крутояровых в счет уплаты долга. По мнению помещика Сивохина, движущим мотивом здесь служила месть, и пылкий болгарин должен был отбить Светлану у Ревина. Но истина оказалась иной. Правда, узнали ее не все.

Стоял пропитанный кислым осенним солнцем день. Деревья тянули к холодной синеве уцелевшие листья, сухие, сморщенные, как старческие ладони. Светлана Николаовна прогуливалась по парку в одиночестве – ей необходимо было собраться с мыслями и разобраться в чувствах, коим настало изрядное смятение.

Он возник позади тенью, неслышно, развернул за плечи, привлек к себе мягко, но властно. Жесткие кудри щекотали лицо, пьянили южной ночью, черные глаза закрыли небо, превратились в бездонный омут, повлекли сквозь зеркало воды вниз, вниз...

– Нет!.. – Светлана вырвалась, с трудом переводя дыхание.

Часто-часто вздымалась грудь, на шею упал выбившийся локон.

Жаркая одурь нахлынула вновь, стало душно, стало нечем дышать. Треснула разрываема-
мая жадными пальцами материя.

– Нет!..

Но руки не отпускали, давили еще сильнее, уже грубо, в щеку впиалась щетина.

– Нет! Нет! Прочь!..

Нежный зверь превратился в животное, объятое похотью, шарил лапами под юбками,
дышал смрадом в лицо...

Чья-то рука оторвала Талманского от Светланы и швырнула в объятия вековому тополю.
Ревин поднял девушку на ноги, загородил собой и проговорил едва слышно, не касаясь Тал-
манского взглядом:

– Время и место...

Тот провел ладонью по губам, удовлетворительно кивнул, увидев кровь, и вытолкнул,
борясь с дыханием:

– Завтра. С рассветом. Шпаги.

После, не проронив ни слова, скрылся.

– Светлана Николаевна, – Ревин встряхнул девушку за плечи и заглянул в испуганные
глаза: – То, что здесь произошло, никоим образом не затрагивает вашу честь и целиком
ложится на мою. Я даю вам слово офицера, что о случившемся никто никогда не узнает. И
помните, за вами нет никакой вины!.. Ступайте к себе. Вам нужно отдохнуть.

– ...Что? Вы деретесь завтра? На шпагах?! – Александр мерил комнату из угла в угол. –
Скажите мне, что я ослышался! Скажите!

– Вы не ослышались. Завтра в трех верстах отсюда. Местечко называется Морошкин
Пуп, – Ревин улыбнулся. – Жизнеутверждающее название, не правда ли?

– Боже! Да о чем вы?

– Александр, успокойтесь! Право же, не стоит так переживать. Это же, в конце концов,
всего лишь дуэль, а не экзамен в кадетском корпусе.

– Знаете, не смешно! Совсем не смешно! Почему, почему же я не сказал раньше? – Алек-
сандр продолжал свой нервический вояж.

– Ну, раз начали, – Ревин пожал плечами, – договаривайте!

– Хорошо же, слушайте! Известно ли вам, кто такой этот Бисер Талманский?

– Известно. Мерзавец и подлец!

– Да, – Александр кивнул. – Но еще он – профессиональный дуэлянт! Стрелок и фехто-
вальщик. У него за плечами девятнадцать поединков. Не хочу вас пугать, но семнадцать со
смертельным исходом.

– Ого! Но, откуда же, позвольте узнать, вам это известно? – Ревин закинул ногу на ногу. –
Да остановитесь же вы, наконец!..

– Сегодня утром, – Александр присел на краешек стола, – ко мне в комнату постучался
Загоруйко, наш герой-любовник. Он заявил, что терпеть более не в силах и намерен мне
открыться. Выпив полграфина воды, он поведал презанимательную историю. Уж я не знаю,
какой между вами случился разговор, но только после него Загоруйко пребывал в полном смя-
тении. С его слов, он едва руки на себя в тот вечер не наложил...

– Вздор! – поморщился Ревин.

– Может быть... Не суть! Но еще одно лицо в тот вечер имело с ним душщипательную
беседу, дражайший Федор Павлович Шлепков. Загоруйко сетовал на то, как несправедливо
устроен мир, и человек, не способный убить, не способный к насилию, считается слабым, и
женщины, в силу своей природной недальновидности, таковых незаслуженно презирают, обре-
кая на страдания. Рассуждения на тему того, что наше цивилизованное общество не далеко

ушло от средневековых турниров, я, с вашего позволения, опущу. Так вот. Шлепков все это внимательно, а вернее сказать, терпеливо, выслушал и предложил Загоруйко посильную помощь в переустройстве мира. Со слов Федора Павловича, в сотне верст отсюда живет его приятель, так сказать, рыцарь без страха и упрека, который за умеренную цену согласился бы выступить в защиту униженных и оскорбленных. Вначале Загоруйко наотрез отказался. Но после, проведя ночь в раздумьях, изъявил согласие, и, получив от Шлепкова сопроводительное письмо и немалую ссуду, отправился на перекладных в соседний уезд... Ах, друг мой, если бы я рассказал об этом раньше!..

– Это все равно бы ничего не изменило.

– Ваши отношения с Талманским были равны, ничто не предвещало ссоры. Но я недооценил способности мерзавца. Ему удалось спровоцировать вызов от вас, и получить право на выбор оружия.

– Так ли это важно?

– Евгений, вы не понимаете! – Александр снова заходил по комнате. – Он фехтует с детства! Он практикуется по несколько часов в день! Он брал уроки у самого Рамиреса!.. Уедем! – Александр понизил голос. – Уедем сейчас же! Я скажу, что мы получили срочное предписание явиться в полк! Здесь и не пахнет честью! По Талманскому виселица плачет, он – убийца!

Ревин усмехнулся.

– Были бы вы моим другом, если бы я согласился?.. Мы деремся завтра... Уже сегодня. Деремся на шпагах. Так угодно судьбе.

– Простите, – Александр покачал головой. – Простите... Одного не могу понять, какая выгода Шлепкову от всей этой кутерьмы?

– О! У него тяжкий недуг! Он не знает, куда себя употребить, как избавиться от русской хандры – болезни дураков и бездельников. Вот и мнит себя эдаким Цезарем, устраивающим гладиаторские бои.

Талманский в имении Крутояровых не ночевал, съехал тотчас после случая в парке, сославшись на неотложные дела, но, не смотря на то, что офицеры выехали к месту дуэли затемно, уже ожидал их, нетерпеливо прохаживался, приминая ботфортами белую от инея траву. Морошкин Пуп – большую поляну, окруженную со всех сторон лесом, устилал туман, настолько густой, что за двадцать шагов любой предмет принимал неясные очертания и расплывался в серой мгле.

От кареты, запряженной парой лошадей, отделились двое. В одном Ревин узнал собственной персоной Шлепкова, одетого в костюм для охоты, второй мужчина, полный, с густыми бакенбардами, был ему незнаком.

– Доброе утро, господа! – Талманский выпустил струйку пара, и Ревину подумалось, что соперник уже успел разогреться физическими упражнениями. – Это доктор Блюмер. С Федором Павловичем вы знакомы, он любезно согласился стать моим секундантом.

– Прошу, выбирайте оружие! – Шлепков протянул две шпаги без ножен. – Уверяю вас, они абсолютно одинаковы!

Ревин взвесил в руке прямой обоюдоострый клинок с массивной гардой.

– На самом деле, одинаковых шпаг не бывает, – произнес Талманский. – Каждая уникальна, как... женщина. Та, что вы выбрали – грустна и молчалива, моя же подобна пляшущей у костра цыганке. Не желаете поменяться?

– Предпочитаю молчаливых, – клинок Ревина очертил в воздухе дугу.

– Тогда начнем.

– Господа! Господа! Я не знаток дуэльного кодекса, – заговорил молчавший до селе Блюмер, – но, по-моему, дерущимся должно быть предложено примирение.

– Доктор, – поморщился Шлепков, – мы собрались здесь не для того, чтобы вчитываться в казуистику правил... Впрочем... Не желаете ли примириться, господа?

– Считаю примирение невозможным, – буднично произнес Талманский.

– Сколько раз, скажите, вы произносили это? – не выдержал Александр. – Таким же точно тоном?

– Осторожнее, – предупредил Талманский. – Или вы рискуете услышать эту фразу еще раз.

Со стороны дороги явственно фыркнула лошадь, звякнула подножка экипажа. Все обернулись на звук.

– Кого еще там несет? – прищурился Шлепков.

– Господа! – по кочкам, неловко размахивая руками, бежал человек. – Господа, остановитесь!

– Боже мой! Загоруйко... Какого черта вам надо?

– Прекратите! – Загоруйко подбежал, и обратился, переводя дух, к Талманскому: – Я отказываюсь от ваших услуг!..

– Шшто?! – прошипел Шлепков. – Пошел прочь, мальчишка! Что ты несешь?!..

– Федор Палыч, прошу вас, умоляю, остановите дуэль! Вы же можете!

– Я не могу. И никто не может. Оскорбление нанесено... Ну, что вы, право, как барышня, – Шлепков поморщился. – Встаньте... Да отпустите же меня, господа!..

Александр улучил момент и зашептал на ухо Ревину:

– Талманский – артист. Ему мало убить вас просто так, он станет грассировать. Попытайтесь поймать его на браваде... Я...

Александр осекся.

– Что же вы хороните меня раньше времени? – Ревин выглядел спокойным, излишне спокойным. – Ну, с Богом! – он скинул форменный китель, оставшись в просторной белой сорочке.

– Господа, вы готовы? Сходитесь! – Шлепков стряхнул, наконец, Загоруйко с ботинка.

И все вокруг замерло.

Ревин встал в классическую позицию: боком к сопернику, острие перед собой, левая рука отведена назад. Талманский позы не изменил, так и остался стоять вполоборота небрежно, только и позволил себе, что скептическую ухмылку. За мгновение до того, как он сорвался в атаку, Ревин взглянул своему врагу в глаза. И прочел там приговор.

Реальный бой на шпагах длится недолго. Если только кто-то не обладает достаточной долей мастерства, чтобы парировать выпады соперника, и желанием не доводить свои выпады до конца. Талманский не играл на фортепьяно, не был знаком с трудами Платона и не умел вышивать гладью. Но фехтовал он виртуозно, сплетая движения в смертельно-красивый орнамент, раскованно, смело, но, в то же время, внимательно и сосредоточено. Клинок мелькал серым призраком, срывался в обманные фигуры, тающие в тумане.

Не смотря на холод, рубашка Ревина моментально прилипла к спине, на груди, на руках заалели порезы. Он закрывался от атак с какой-то судорожной торопливостью, но все равно не успевал, не успевал.

Талманский разыгрывал поединок, как театральную пьесу, как спектакль, медленно, но неотвратно, приближающийся к кульминации.

Ревин покачнулся, неловко сделал шаг назад, другой, упал на колено, зажав свободной ладонью левый бок. Между пальцами тотчас выступила кровь. Талманский отступил, позволяя противнику подняться, смахнул со лба капельки пота. Ноздри ловили едва слышный запах смерти, витающей вокруг в ожидании заключительного аккорда.

Шлепков придержал за рукав доктора, намеревавшегося перевязать Ревина. «К чему, доктор?.. Оставьте!..»

Загоруйко отвернулся в сторону, зажал уши руками, плечи его сотрясались от рыданий.

Ревин оглянулся, словно ища поддержки, и выпрямился. Что-то неуловимо переменялось в его взгляде. И Талманский ошибочно принял это «что-то» за обреченность. Краешком сознания он успел подивиться изяществу одного единственного стремительного этюда, которым его встретил Ревин, прежде чем боль, ледяной волной раскатившаяся от пронзенной навывлет груди, захлестнула, вырвалась криком, и, кинувшись в ослабевшие разом ноги, накрыла черным пологом...

Талманский лежал на спине. По груди его расплзлось алое пятно, открытые глаза застилала пленка.

– Мертв, – констатировал доктор, отряхивая колени. – Прямо в сердце... Идемте, – велел он Ревину. – Вам нужно наложить швы.

Резаная рана в боку была неопасной, но глубокой, и кровоточила.

Загоруйко нюхал соль.

Федор Павлович кружил вокруг тела Талманского подобно стервятнику и повторял, как заведенный:

– Кто бы мог подумать... Заколот... Заколот, будто свинью... Кто бы мог подумать...

* * *

Мягко покачиваясь на рессорах, карета свернула с мостовой на проселочную дорогу. Верховые сопровождения покружили на месте, давая четверке рысаков набрать ход, и устремились следом, выбрасывая из-под копыт комья мерзлой земли.

Пассажир оторвался от созерцания однообразного унылого пейзажа, проплывавшего за окном, и откинулся на мягкий кожаный диван, устало полуприкрыв набрякшие веки. Надежда поспать в пути потерпела фиаско, двухчасовая тряска вызывала острые приступы изжоги, чем и объяснялось растущее ежесекундно недовольство. Пассажир вряд ли мог связно обрисовать цель своей поездки, про себя именуя ее инспекцией. И впрямь, каковы могут быть цели инспекции? Развесить трюлюлей, наорать на нерадивых подчиненных до их полуобморочного шатания, и все для того, чтобы огромная неповоротливая махина ненадолго завращалась шибче... На что? На что, спрашивается, уходят силы? А ведь он человек творческий, чувствующий, можно сказать утонченный...

Карета остановилась у большого двухэтажного особняка, окруженного высоченным забором из багрового, едва ли не черного кирпича. За густыми завитушками массивных литых ворот угадывались очертания трех лакеев в синих форменных ливреях. Лакеи вытянулись во фронт, однако отворять ворота не спешили.

– Что за черт! – прошипел пассажир и, кряхтя, выбрался из кареты, растирая затекшую поясницу. – О-ох, растряс, сукин ты сын! – погрозил кучеру кулаком, – Шкуру велю спустить!..

Подбежал адъютант, доложил, торопливо глотая слова:

– Вашевыпирство! Открывать не изволят!..

И, поймав непонимающий, застланный сонной оторопью взгляд, торопливо добавил:

– Виноват-с, одно только и долдонят: «неположено»!..

– Что-о?! – взревел пассажир. – А ну-ка!..

Он отстранил адъютанта, беспомощно хлопающего ресницами, и в сердцах пнул чугунные створки:

– Начальника ко мне, живо!

Лакеи повели себя в высшей степени странно: отбежали в стороны и замерли, заложив руки в белых перчатках куда-то в недра расшитых ливрей. На рев явился с иголочки одетый офицер, шелкнув каблуками, представился:

– Гвардии подпоручик Мезимов. Кто вы и по какому вопросу?

Пассажир поперхнулся воздухом, налился дурной краской и тоном, не обещающим подпоручику карьерных продвижений, по меньшей мере, в ближайшую тысячу лет, проскрипел:

– Министр внутренних дел, генерал от кавалерии Тирашев.

– Ваше высокоблагородие! – начальник караула и бровью не повел, словно стоящие под забором министры были для него чем-то обыденным. – О вашем визите доложат сию секунду!

– Открыть ворота немедленно! – велел Тирашев, угрожающе выпятив подбородок, – Сукин ты сын!

– Никак невозможно-с! – отрапортовал подпоручик. – Имею предписание!

– Да ты в своем уме? Да я тебя в Сибирь!.. В бараний рог!.. А ну-ка, братцы, ломайте!

Двое жандармов спешили и нерешительно принялись долбить по литым завитушкам прикладами карабинов.

– Отставить! – тяжелые створки приоткрылись, выпустив наружу высокого господина, форма одежды которого: красный махровый халат и шлепанцы на босу ногу, никак не соответствовала ни погодным обстоятельствам, ни торжественности момента. – Честь имею пригласить, Александр Егорович! Прошу простить за внешний вид, признаться, не ждал!..

Лицо Тирашева слегка прояснилось, но тон по-прежнему ничего хорошего не предвещал:

– Ну, распустил, Матвей Нилыч! Ну, распустил ты свою братию! Это же черт знает что такое!..

Господин в махровом халате разгневанного министра не перебивал, терпеливо ожидая, пока начальственный гром не сменится недовольным брюзжанием. Тирашев не заметил и сам, как деликатно увлекаемый под локоток, миновал ворота и очутился во внутреннем дворе особняка. Следом попытался протиснуться и адъютант, но дерзкий начальник караула в форме подпоручика гвардии, преградил тому путь. Адъютант открыл было рот, чтобы возмутиться, но встретился взглядом с его высокопревосходительством. Тирашев поколебался, пожевал губами, и велел:

– Гм... Ты, вот что, любезный... Посмотри-ка тут, за воротами...

– Слушаюсь, – адъютант скис лицом и покорно ретировался.

Ливнев сделал неуловимый жест и «лакеи», сжимавшие за пазухами гранаты, рассованные по специальным карманам, выпростили руки, облегченно перевели дух. Закрылось, отбросив блик, окошко на мансардном этаже – это стрелок оторвался от прицельной планки «Маузера», пристрелянного по воротам.

Здесь не любили непрошенных гостей.

Впрочем, здесь гостей вообще не любили.

– Извольте баньку с дороги, ваше высокопревосходительство?

– Баньку... Ты, мне зубы не заговаривай, Матвей Нилыч! Ишь, выискался, дипломат!.. Развел тут, понимаешь, государство в государстве!.. Ты еще пока по моему ведомству проходишь!.. Так что, гм, изволь!..

– Слушаюсь! – лицо Ливнева приняло подобострастное выражение, но речные льдинки глаз откровенно глумились.

– Тьфу! – Тирашев сморщился.

На ум неожиданно пришли события полугодовой давности. Тогда с министерства затребовали подробный финансовый отчет по всем канцеляриям и отделениям, в том числе и по секретной службе Ливнева. Все это были кратковременные веяния, исконно российские крайние шатания, когда по утру миллионы на ветер, а к ночи копейки скребут. Политика – это навозная куча. Большая политика – большая куча. Охочих покопать под Тирашева отыскалось изрядно. Влиятельнейший министр держал позиции, но седых волос на его голове прибавлялось с каждым днем. Точку в этой истории поставил сам Ливнев, добившись через голову Александра Егоровича аудиенции у самого Государя. И о чем он там беседовал с Его Императорским Величеством, какие доводы приводил, оставалось лишь гадать, но только ретивые

вельможи молниеносно схлопотали по длинным не в меру носам и об особом ведомстве даже думать забыли. Тирашев считал себя прогрессором, привыкшим ставить во главу угла дело и только дело, но высочайшее покровительство, ограждавшее Ливнева от любых посягательств, все же уязвляло самолюбие министра.

– Что же вы желаете посмотреть, Александр Егорович?

– А все как есть и желаю. Избави бог от этих парадов свирепого старания да от свежескрашенного очковтирательства. Устал, – Тирашев потер переносицу. – Как есть устал...

Во владения Ливнева министр, как тому и подобает, вступил с парадного крыльца. Нетерпеливо отстранил хозяина, и решительно потянул за бронзовую ручку сам, жестом своим желая показать, что весь политес и церемонии пусть бережет Ливнев для дворцовых приемов.

– Что же, закрыто у тебя? – дверь не поддавалась.

– Открыто, Александр Егорович. Сильнее!.. Позвольте я сам!..

– Нет уж, – Тирашев надулся, запыхтел и с натугой отворил дверную створку. – Вот так сейф!.. Это зачем же, позволь узнать, здесь такая неподъемная конструкция?

– Внутри стальная коробка с песком, – пояснил Ливнев. И добавил задумчиво: – От огня защита. Да и вообще...

Исполненный в мраморе вестибюль покрывали красные ковровые дорожки. Вверх, меж двух колонн, убегала широкая лестница с золочеными шишечками на перилах, повсюду стояли тропические растения в кадках.

– Гм. Недурно устроился. У меня в министерстве пожиже будет, – Тирашев окинул залу взглядом и, поджав губы, вынес вердикт: – Казну не считаешь!..

Ливнев скромно потупил взор и протестовать не стал. Равно как и докладывать, что едва ли не половину всех ассигнований составляют неправительственные источники. Попутно основным изысканиям служба его занималась поиском кладов, добычей разного рода ценных древностей и иными делами, о которых Матвею Нильчу распространяться не хотелось бы.

– А сие, Александр Егорович, казна и есть. И никуда из государства она не денется. И вся только разница, что не в сундуке казна эта лежит под семью замками, а на державу работает, пользу приумножает...

– Вот и поглядим, поглядим... Как оно приумножает...

– Здесь у нас, извольте любопытствовать, научная лаборатория.

Тирашев переступил порог и от неожиданности пошатнулся. Яркий свет электрических ламп бил в глаза, шибал в нос запах каких-то химикалий. Пространство повсюду заполняло стекло, колбы, реторты, пробирки, диковинные устройства вида и назначения крайне замысловатого. Посреди всего этого буйства естественнонаучной мысли склонились над мелкоскопом двое в фартуках поверх белых халатов. У каждого увеличительное стекло размером с блюдце, закрепленное вокруг головы при помощи обруча.

– Господа!..

Господа оторвались от важных наблюдений и, прищурился в сторону незваного гостя циклопы глаза, неуверенно кивнули.

Ливнев подхватил потерявшегося слегка министра под локоть и увлек в следующее помещение. Здесь находилась библиотека. Ряды стеллажей от пола до потолка оккупировали книги. Золоченые корешки современных изданий соседствовали с древними фолиантами, обтянутыми кожей, с пергаментными свитками, папирусными листами, глиняными табличками и просто камнями, испещренными письменами. Под толстым стеклом, бережно разложенные на черном бархате, покоились ветхие манускрипты.

– Собрание, как видите, довольно обширное. И это, без ложной скромности, одно из главных наших достояний, – рассказывал Ливнев. – Книги мы выписываем со всего мира. Некоторые есть в единственном экземпляре, только здесь. С целью убыстрения поиска ведется подробный алфавитный и тематический перечень.

– Ну, что же, ве... ве... сьма... – от книжной пыли Тирашев засопел носом и оглушительно чихнул: – недурно!

– Будьте здоровы, ваше высокопревосходительство!

– Благодарю! А что же там за стуки такие?

– Инструментальная мастерская. Соседство с библиотекой из-за шума не самое удачное. Но ничего не попишешь, недостаток в площадях, – Ливнев легко распахнул еще одну тяжелую дверь. – Прошу!

«Знаем мы ваш недостаток», думал про себя Тирашев, «Вам Зимний дворец в распоряжение предоставь – мало будет!»

В пустующей мастерской царил полумрак. Выглядела она обычно, как и надлежит выглядеть мастерской: верстаки, тиски, развешанные по стенам инструменты, кое-какие станки. Зато из соседней комнаты лился яркий свет и доносился сотрясающий здание грохот.

– Там кузница, – пояснил Ливнев, – плавильная печь и небольшой паровой молот. Будем заходить?

Министр скорчил мину и махнул рукой. Вся эта машинерия его интересовала слабо.

– Ты мне вот что скажи, друг любезный, это зачем тебе понадобилась плавильная печь?

– Многое из снаряжения приходится изготавливать самим. Пробовали размещать заказы на заводах, но выходит невозможно долго и, все одно, где-нибудь, да напортачат. Опять же, большое хозяйство требует ремонта и обновления. У нас же, знаете, паровое отопление, да-с! – Ливнев принялся загибать пальцы. – Собственная электростанция на угле, ватерклозеты... В скором времени планируем поставить водопровод, а воду качать из скважины насосом!

Тирашев округлил глаза.

– Я знаю, что вы скажете, – заверил Ливнев. – Вы скажете: роскошь!

– И скажу! – подтвердил Тирашев. – И скажу!

– Но это не роскошь! Отнюдь! Это экономия времени и людей! У меня на всем хозяйстве из вспомогательного персонала только восемь человек, – Ливнев выпростал пятерню и снова принялся загибать пальцы. – Одна экономка, две горничных, один дворник, он же конюх, повар со стряпухой, да механик с инженером. Все! Более лишних здесь нет. А в нашем деле это важно, как нигде!

– Гм. А сколько же у тебя, того, не лишних?

– Двадцать семь душ – все секретное отделение. Вместе с вашим покорным слугой.

– Всего? – изумился Тирашев. – И правда, не густо.

– И трое еще на излечении в госпитале.

– А что такое?

Ливнев махнул рукой.

– Приходится иметь дело с разными... С разным...

– Матвей Нильч, извините, что спрашиваю. Случались ли, гм, летальные исходы?..

– Да, – кивнул Ливнев.

В подробности он вдаваться не хотел.

– Прошу. Тренировочный зал. Для того как раз, чтобы как можно меньше случалось летальных исходов.

В просторной комнате было свежо: оба окна, забранные металлической сеткой, открыты настежь. По гладкому паркету скользили в замысловатом танце несколько пар. Только танцевали они не вальс, не танго и не мазурку. Одни боксировали в огромных мягких перчатках, другие ломали друг друга в объятьях, третьи фехтовали деревянными саблями.

– Господа!

Тирашев удостоился формального приветствия и танцы возобновились.

– А что же, – поинтересовался министр, – из жандармерии отбираете себе сотрудников или в войсках?

– Не обязательно, – помотал головой Ливнев. – Есть у нас и циркачи, и бывшие студенты. Есть даже один школьный учитель. Да и господами, имеющими трения с законом, случается, не брезгуем. В нашем деле такого рода опыт незаменим. А стрелять, да махать шашкой – не самая премудрая премудрость, поверьте.

– А что же тогда?

– Не бояться. Боли, смерти, неизведанного. Не знаю, начальства, – Ливнев улыбнулся. – Уметь анализировать, складывать воедино кусочки разного. И преодолевать препятствия. Любые препятствия. При этом раскрыть себя, работать смело, творчески, свободно. И наипервешая моя задача создать к этому все условия. Я многое даю людям, многое и спрашиваю.

– Матвей Нилыч, голубчик, – Тирашев понизил голос. – А есть все же, гм, какие-нибудь вещественные подтверждения?.. Ну, на что можно посмотреть?.. А то мы все вокруг, да около...

Ливнев помедлил с ответом, и, наконец, кивнул.

– Есть. Пойдемте!..

Плутая длинными переходами, Ливнев привел министра на подвальный этаж, остановился перед большой дверью, толстой цельнометаллической плитой, уже не декорированной дубовыми панелями. Вскочивший со стула молодой человек натужно отворил ее, звякнув хитрыми ключами, и остановился поодаль.

– Нешто золотой запас у тебя там, – Тирашев неодобрительно покосился на молодого человека; часовой, в понимании Александра Егоровича, должен на посту стоять.

Но спросил министр так, чтобы разрядить атмосферу. Прекрасно понимая, что хранится за такой дверью не золото.

– Прощу! – Ливнев свернул в первую по коридору не то комнату, не то камеру.

Решетка, перехваченная для прочности кольцами, выросла из бетонного пола и уходила в высокий сводчатый потолок. В нос ударил острый неприятный запах, заставивший Тирашева брезгливо уткнуться носом в платочек. В дальнем углу на куче соломы, поджав под себя ноги, сидел некто, недобро блеснувший на посетителей белками глаз. Редкие жирные пряди, сползали по большому покатуному черепу, широкие ноздри настороженно подрагивали, из-под длинной холщовой рубахи выглядывали огромные волосатые ступни.

– Мы окрестили его Попрыгун, – поведал Ливнев.

– Что это за диво? Это зверь?

– Внешне существо походит на человека мужского пола, но это не человек. Благодаря строению задних конечностей, может выпрыгивать на высоту до двенадцати аршин. Изловлен нами на Дальнем Востоке. Жил в лесу, питался мелкими грызунами, хватал белок и низко пролетающих птиц. Великолепно видит в темноте. Чрезвычайно хитер. На контакт идет крайне неохотно, из одежды признал только сорочку, да и то ценой наших невероятных трудов. Брюки же рвет в клочья. Речевой аппарат не развит, но из разговора понимает много. Больше, чем показывает...

Словно в подтверждение слов Ливнева существо, пронзительно крикнув, сорвалось с места и взвилось под потолок, обитый чем-то мягким. Приземлившись, равнодушно повернулось к посетителям спиной и принялось вычесывать в подмышке длинными пальцами с крепкими черными ногтями.

– Откуда же это... Оно... Взялось?..

Ливнев развел руками.

– Может, продукт мутации. Может, неизвестный науке вид живого существа... А может, перед нами грех человеческой самки и зверя...

– Тьфу, ты! – Тирашев перекрестился. – Прости Господи...

– Никак не реагирует ни на святое распятие, ни на образа и равнодушен к святой воде. Наш следующий... э-э... гость. Прощу!..

В помещении царил полумрак, крохотное оконце забрано плотной шторкой. От пятерки толстых свечей в подсвечнике по углам металась тень. Стол, кровать с тумбочкой, зеркало и кресло с высокой спинкой: обычная меблированная комната, если бы не все та же вмурованная в стены решетка с толстыми прутьями. В кресле сидел молодой человек, пергаментно бледный, с заострившимися скулами, он уставился на вошедших немигающим взглядом. В черных, неестественно больших зрачках его плясали, отражаясь, огоньки пламени, и от этого Александру Егоровичу сделалось не по себе.

– Здравствуй, Йохан.

Молодой человек не ответил, лишь вздохнул, от чего колыхнулись темные, ниспадающие до плеч волосы.

– Что ты читал сегодня?

– Все то же, – Йохан разлепил тонкие бескровные губы. – «Фауста», – он отбросил на кровать пухлый томик, раскрытый на середине. – Что еще может читать вампир?

Слова выходили у него с каким-то шелестящим присвистом, словно змеиная кожа скользила по камню.

– Вампир?! – Тирашев отшатнулся.

– Чесночные котлеты, – парировал Йохан, брезгливо подернув щекой.

– Он боится чеснока! – министр вцепился Ливневу в рукав.

– Не боюсь, – прошептали тонкие губы. – Противно...

– Йохан, прошу, повежливее.

– А что ты мне сделаешь, Ливнев? – Йохан вскочил, приблизился одним кошачьим прыжком и склонил голову на бок. – Убьешь? Сделай милость!.. Что может быть хуже такой жизни? Я гнию здесь заживо, я подышаю! За что?! – Йохан вцепился в прутья так, что те скрипнули. – Меня таким сотворил Бог! Бог!! Бог!!!

Ливнев остался спокоен.

Йохан сложил руки на груди и демонстративно отвернулся.

– Я голоден, – произнес он.

– Я знаю, – Ливнев кивнул и крикнул он в приоткрытую дверь: – Вортош!

– Харчи вурдалаку! – прозвучала команда где-то в глубине коридора.

Появилось трое молодых людей, вооруженных револьверами, выжидающе остановились.

– Йохан, порядок тебе знаком, – проговорил Ливнев.

Вампир послушно просунул в отверстия решетки запястья, на которых тотчас сомкнулись толстые стальные обручи. Наружная дверь камеры закрылась, в лицо Йохану уставились два револьвера и только после этого за решетку, отперев несколько замков, шагнул человек с подносом в руках. Поставил на стол графин, на треть наполненный густой темно-красной жидкостью, тонкостенный бокал, положил рядом белоснежную салфетку и удалился.

– Человеческая, – шевельнув тонкими ноздрями, прошептал Йохан.

– Кровь донора, – пояснил Ливнев потерявшему дар речи Тирашеву. – Если туго с человеческой, потчует свиной или говяжьей.

– Отпусти меня, Ливнев, – прошелестел Йохан. – Отпусти. Клянусь, ты никогда меня не увидишь!

– Я сожалею, Йохан, – Ливнев опустил глаза и вышел.

Следом выкатился Тирашев, промакивая взопревшую лысину платочком.

– Чудны дела твои, Господи, – пробормотал он. – Такой симпатичный юноша... Жаль же его, право, жаль!.. Неужели он и в правду?.. Вампир?..

– Ну, а как прикажете называть человека, предпочитающего обычной пище кровь? Его желудок отвергает привычную нам еду. Йохан не переносит солнечного света и серебра. При всем прочем, ловок, силен, образован, изыскан. Окончил медицинский факультет Сорбонны, знает пять языков. Много отдал бы, чтобы люди были такими... Верите? – помолчав, продол-

жил Ливнев. – Я отпустил бы бедолагу на все четыре стороны. Какое мне, в сущности, дело до его аномалий? Я не стремлюсь насадить в мир справедливость. Нет! Справедливость у каждого своя... В надежде найти крупинцы истины мы перерываем горы пустой породы, горы!..

Недавно, вот, случился курьез... Кладбище в одном уездном городишке пользовалось дурной славой. Такой дурной, что просто дурнее некуда. Дескать, и вопли оттуда душу ледяющие, и покойники по ночам бродят... Такого наслушались – кровь в жилах стынет. Приезжаем, и правда, место зловещее, не то, что затемно, днем не по себе. Первую ночь, как будто все тихо было, а на вторую – полезли голубчики из склепов, мычат, воют...

– Ох! – Тирашев схватился за сердце. – Неужто правда?.. И что же дальше?

– Правда! – заверил Ливнев. – Истинная правда!.. Дальше?.. А что дальше? У меня ребята простые, мертвяки, так мертвяки. Повязали их всех за милую душеньку вмиг... Помяли немного... Оказались разбойнички. Пьяные в стельку, лыка не вязали. Добро свое прятали на кладбище...

Ливнев вздохнул.

– И иногда мне кажется, что все впустую, что мы ловим ситом воздух, небылицы, пьяные бредни, бабушкины рассказы. Тогда я спускаюсь в подвал и смотрю на то, чего нет. И играю с Йоханом в шахматы. Я не выиграл у него ни разу. Несколько ничьих были, скорее, данью моему упорству... Однако, довольно подземелий!

Ливнев повел министра на второй этаж, где подобно гостиничным номерам располагались жилые комнаты.

– Сейчас представлю вам еще одного нашего гостя. Модест Порфирьевич Козявкин, прошу знакомиться!

С измятой постели вскочил пожилой человек, полный, с плешью через всю голову, в изжеванном костюме поверх несвежей сорочки. Осмотрелся невидящими, дикими со сна глазами и сел обратно. Здесь никакой решетки не было, но Тирашев на всякий случай остался стоять поближе ко входной двери.

– Александр Егорович, – представил министра Ливнев, намеренно опустив его фамилию и звание. – Наш отец и благодетель.

Модест Порфирьевич промычал что-то невразумительное и болезненно сморщился, всем своим видом давая понять, что не в состоянии изобразить надлежащее случаю подобострастие.

– Голубчик, как вы себя чувствуете? Вы отдохнули?

– Матвей Нилыч, отправьте меня домой, – Модест Порфирьевич соорудил такую кислую мину, будто разжевал лимон, и зарядил длинную жалобу. – Меня ждет супружница моя, детишки. В конторе уже третий месяц не показывался. Меня и уволили давно поди. А как сейчас непросто сыскать место, знали б вы! Смилуйтесь, Христа ради! Я старый больной человек! Помру я здесь...

– Ну-ну-ну! – перебил Ливнев. – Будет вам! Во-первых, вы не на отдыхе, а на государственной службе, выполняете задание чрезвычайной важности! А во-вторых, позволю себе напомнить, вам назначена денежная премия в размере годового жалования. Так что бросьте хандрить! Кто вы сейчас? Провинциальный секретарь! Вернетесь коллежским, с Анной в петлице! Ну, же!

Модест Порфирьевич возвел очи ко лбу. Он ощущал себя мучеником.

– Да! Я же к вам не просто так, а с оказией! – Ливнев вытащил из нагрудного кармана конверт, помахал в воздухе. – Пляшите, вам весточка от супруги!

Конверт лег на стол. Модест Порфирьевич подобрался, но остался сидеть, воззрившись на письмо, как на божий лик.

– Что же вы? Прошу вас!.. – Ливнев отступил назад.

Тирашев почувствовал, как на затылке у него зашевелились волосы: конверт дернулся и сам собой пополз, свалился со стола, протащился по полу и прыгнул в руки к Модесту Порфирьевичу.

– Это что за фокусы? – от неожиданности Тирашев возвысил голос на фальцет, невольно заставив Модеста Порфирьевича, едва не выронившего письмо с испугу, непонимающе захлопать глазами.

– А никаких фокусов, Александр Егорович, – Ливнев позволил себе улыбнуться уголком рта. – Никаких ниток, магнитов и зеркал. Все по-честному. Модест Порфирьевич, вы уж ради меня постарайтесь...

С этими словами Ливнев положил на столешницу спичечный коробок.

Модест Порфирьевич быстро кивнул, собрал складки на переносице и... коробок перевернулся и встал «на попа». По лицу без пяти минут корабельного секретаря сползла капля пота. Коробок приоткрылся, потом еще, еще, до тех пор, пока спички не высыпались наружу.

– Bravo! Bravo, Модест Порфирьевич! – зааплодировал Ливнев. – Вы делаете успехи!.. Засим отдыхайте. Не будем вас боле беспокоить!..

После увиденного ни обширная костюмерная, ни оружейный арсенал, в котором тоже было на что посмотреть, на Тирашева никакого впечатления не произвели.

– Дуняша, лапушка, ставь самовар!..

– Хорошо, Матвей Нилыч.

Розовощекая пышнотелая горничная одарила белозубой улыбкой и неслышно прикрыла дверь. Тирашев выглядел подавленным, от начальственной спеси не осталось и следа. Перед глазами стояли заспиртованные уродцы в банках, ветхие манускрипты, и разные диковинные предметы, именуемые Ливневым артефактами. Много порассказал Ливнев разного. Про таинственные огни в небе, про странных, не всегда обремененных телом, существ, обитающих, как в глуши, так и бок о бок с человеком. Много поведал... Но еще о большем умолчал. И от этого министру делалось худо.

– Что-то вы с лица спали, Александр Егорович! Небось, плачете уже по быломu неведению?

– Как есть, жалею, – махнул рукой министр. – Мне, знаешь, одних народников предостаточно. Их бы энергию, как говорится, да в мирных целях. Страна бурлит, как паровой котел... Эх-х... Смутил ты меня, голубчик, как есть смутил. Спать теперь не буду...

– Не стоит, право!.. Суеверный страх губителен для рассудка, губителен для того, чему человек обязан своим положением в природе. Все что вы увидели – это только капля в океане, позволяющая судить, лишь, на сколько сей океан огромен. Мы возгордились, возомнили себя венцом творения, попросту отвергая то, что не укладывается в рамки привычных представлений о мире. Глупо уподобляться страусу, зарывающему голову в песок!.. Кстати, это тоже миф, крылатая фраза, не более. Если бы страус прятал голову в песок, он непременно задохнулся бы...

– А это что это у тебя? – министр увидал в углу кабинета гипсовую статую, полуприкрытую простыней. – Никак скульптурой занялся? А? Дай-ка взглянуть старику! Ну-ка...

Александр Егорович испытывал к скульптуре страсть и сам, надо сказать, на досуге вял, порождая насмешки недоброжелателей.

– Но! Но! Не верю глазам своим! Техника потрясающая! Какая точность, э-э, деталей!.. Однако, я тяготею больше, гм, знаете... к женскому телу... И как-то странно начинать фигуру с... со спины...

Ливнев смутился, пробормотал что-то невразумительное, закрывая изваяние пологом. Подробности о том, с чего гипсовый слепок снят и откуда переправлен, он опустил.

– Ну, Матвей Нилыч, удивил, – Тирашев покровительственно похлопал Ливнева по плечу. – Удивил! А у тебя, знаешь, задатки, да! Поверь старику. Я кое-что соображаю в таких вещах. И могу тебе по-дружески дать советов, и даже кое-где поставить запятую!..

Необъяснимые явления, таинственные находки, живой вампир Йохан – все отошло на второй план. Тирашев почувствовал почву под ногами, покрылся налетом добродушной начальственности и принялся обстоятельно и подробно рассуждать о скульптуре, камне и инструментах.

Когда горничная внесла горячий самовар, Ливнев слишком уж заметно оживился, рискуя вызвать неудовольствие вошедшего в раж Александра Егоровича.

– Дуняша, не уходи, голубушка. Покажи нам, как ты умеешь.

– Ой, барин, – Дуняша прыснула в рукав, – стесняюсь я...

– Какой я тебе барин? Опять ты за свое! Ну-ка, садись! А вы, Александр Егорович, – Ливнев подал карандаш, – напишите-ка на салфетке число какое-нибудь.

– Какое? – недоуменно поднял брови Тирашев.

– Какое на ум придет, то и пишите, – прощепетала Дуняша, снова спрятав смешинки в ладошках. – От меня закройте!

– Гм... Ну, написал, – Тирашев перевернул салфетку.

– Осьмнадцать! – выкрикнула Дуняша и залилась звонким смехом.

– Верно... Подсмотрела!

– Нет! – Дуняша выставила перед собой руки и замотала головой. – Нет! Вы глянули на меня и подумали, сколько мне лет от роду, и дали осьмнадцать... А мне семнадцать еще только...

– Ишь ты!.. А ну, скажи тогда, что у меня сейчас в мыслях?

– Так у всех у вас в мыслях одно и то же, – Дуняша отвела глазки и зарделась.

– Нет, какова девка, а? – Ливнев не выдержал и рассмеялся. – Насквозь видит! Хоть сейчас в разведку!

Тирашев измарал все салфетки. Писал числа, короткие слова, рисовал разные фигуры. Дуняша угадывала даже с завязанными платком глазами, даже повернувшись спиной.

– И что же, – Тирашев утер пот со лба, – ты со всеми вот так можешь?

– Нет, не со всеми. С Матвей Нилычем получается, только ежели они захотят...

– Ну, ступай, – Ливнев улыбнулся. – Иди с Богом!

Дуняша неумело исполнила книксен и скрылась за дверь.

– Возьмешь таких к себе на службу – конфуза не оберешься, – пробормотал Тирашев. И тут же поправился: – Слушай, Матвей Нилыч, отдай мне девку, а? Я с ней быстро бездельников и казнокрадов к ногтю прижму!..

Тирашев закатил глаза, видя, как справляется с противниками в подковерных интригах, как Государь приближает к себе, подивившись его проницательности и осведомленности, как...

– А, – обреченно махнул рукой министр. – Не отдашь ведь, знаю...

Министр укатил затемно. Долго мялся, морщился и, уже ступив на подножку кареты, пространно намекнул про практическую пользу «изысканий». Дескать, сугубо научный подход – то поле деятельности ученых из Географического Общества, а от Ливнева требуется поставить-таки потусторонние силы на службу государству. Заставить, понимаешь, «их» воду возить и колеса вертеть.

«Какое, к чертям, «поставить», запершись на ключ у себя в кабинете, Ливнев налил из пузатого графинчика рюмку рябиновки и разом опрокинул в рот, «Тут бы узнать, хотя бы, с чем дело имеем». Покосился на лежащую на столе зеленую папку с заглавием «Каменный человек». Ливнев повертел папку пальцами и в бесчисленный раз открыл. Фотографии слепка, фотографии местности, снимок профессора Ятса, его же сбивчивое заключение, данные гео-

логической партии и лозоходцев, показания беглых каторжников, доклад наблюдателей, полтора месяца скитавшихся окрест, пальцевые отпечатки жителей близлежащих деревень, включая грудных младенцев, пальцевые отпечатки... самого...

Что же это такое? Злая шутка природы? Свалившаяся с неба глыба? Или действительно, подобно созданному из глины хелмским равнином Элией великану, из тверди встало человекоподобное существо? Ливнев вскочил, сорвал с гипсового слепка полог. Без сомнения фигура принадлежала мужчине. Великолепно сложенный, с мускулистыми ногами, широкой спиной, ростом он не уступал самому Ливневу. В полумраке кабинета изваяние казалось живым. Чудилось, будто бы стоит только окликнуть и каменный человек обернется, явит свое лицо.

– М-да, – пробормотал Ливнев, стряхивая наваждение. – Дорого бы я отдал, чтобы с тобой встретиться...

– Матвей Нилыч, – прервав раздумья, в покои деликатно постучался Йохан. – Я вам не нужен сегодня больше?

– Нет, спасибо, Йохан. Отдыхай! Ты славно поработал. Министра нашего едва удар не хватил.

Йохан улыбнулся и неслышно притворил дверь.

«Действительно», подумал Ливнев, «кто так хорошо сыграет вампира? Только настоящий вампир!»

– Тетенька, пусти-и!.. Тетенька! – тощий чумазый оборванец еле попевал за средних лет дамочкой, цепко удерживающей за руку.

Избитая обутка гребла пыль, волочилась по земле оборванная помочь. Мальчишка канючил, размазывая соплю по сморщенному личику, не выпуская, однако, из кулачка своего «коника» – кривой палки с припиленной лошадиной головой, неумело вырезанной из дерева.

– А ну, не реви, не реви! – приговаривала дамочка, сердито поджимая тонкие бескровные губы. – А не то не дам тебе сахарного петуха!

Упоминание о сахарном петухе ненадолго успокаивало мальчишку, но вскоре он принимался хныкать вновь. Дамочка была на вид некрасива: сама худая, костлявая, лицо желтое и глаза начернены так густо, что казалось, будто не глаза это вовсе, а пустые глазницы. Пальто ее, изрядно побитое молью, пахло мышами, а из-под невообразимой бесформенной шляпки с торчащими во все стороны перьями выбивались спутанные пряди.

Редкие прохожие не обращали на странную пару ровным счетом никакого внимания – ни дать, ни взять, мамаша тащит непослушного ребенка. Две уличные торговки покосились на дамочку, на время прервав свою трескотню, и снова принялись судачить о своем.

– Слыхала? – одна пихнула в бок товарку. – Говорят, будто люди у нас стали пропадать...

– Да чего ж не слышать-то? Слыхала... Сказывают, – другая понизила голос, – будто ходит по нашему городу черт в человеческом обличье. На кого укажет левым мизинцем, тот и провалится под землю строить мост под рекой. А мизинец у него не простой, а в два раза длиннее обычного...

– Это как же, мост под рекой?

– Как-как... Знамо как... Такой же, как обычно, токмо с подземной стороны, чтобы черти и иная нечисть по нему свободно шастать могли...

Под вывеской «Питейное заведение Кутейщиков и К^о (меблированные номера и обеды)» дамочка остановилась. Оглянулась на двух пьяных в стельку извозчиков, горланящих песни, на кучера, что дремал на дрожках, дожидаясь, видно, загулявшего барина, и потащила мальчишку на дурнопахнущее крыльцо. В душной трактирной сутолоке к ним вышел сам колченогий хозяин, отвел в дальний угол и принялся о чем-то сердито шептаться с дамочкой. Мальчонка целиком их разговора не слышал, а только разбирал отдельные фразы. Трактирщик несколько раз назвал дамочку «дурой» за то, что она «привела с парадного». А дамочка огрызнулась и тре-

бовала что-то «прямо сейчас», потому что ее «ломает». Поколебавшись, трактирщик достал из внутреннего кармана маленькую коробочку из которой дамочка, отвернувшись, нюхала сначала одной ноздрей, потом другой. Было душно, кто-то громко требовал «полштофа» и мальчик снова стал хныкать.

– Тебя как звать, малец, а? – трактирщик склонился и неловко потрепал мальчонку за волосы.

– Микитка...

– Вот молодец! А где твоя мамка?

– Нету мамки...

– И тятки нету?

Микитка покачал головой.

– Эх, сиротка, – трактирщик и дамочка согласно переглянулись. – А чего ж ты хочешь?

– Сахарного петуха...

– Ах, ты ж, горе!

Сильно прихрамывая, трактирщик повел мальчонку к стойке, ни на секунду не выпуская из пальцев худенькое плечо, вручил леденец на палочке:

– Держи!.. Вкусно? Вот и ладно!.. Иди-ка, я тебе еще кваску налью.

Трактирщик привел Микитку на кухню, усадил на мешок с мукой. В жару, среди кастрюль и котлов металась взопревшая стряпуха.

– На-ко, испей!..

Мальчишка принял глиняную кружку, понюхал, но пить не стал.

– Пей! Холодный квасок, эх!..

– Не буду, – Микитка покачал головой.

– Чего ж?

– Он дурманом пахнет...

Трактирщик отпрянул от неожиданности, взглянул на мальчонку с удивлением и пробурчал себе под нос еле слышно:

– Ну, как знаешь... Тебе же хуже...

– На что я вам, дядь? Отпустите меня! – Микитка посмотрел трактирщику прямо в глаза.

Тот не выдержал и отвел взгляд.

– Ну, что ты, дурачок? Куда же ты пойдешь, на ночь глядя? Пойдем-ка, я тебя в комнату отведу. Перинка у меня мягонькая, поспишь, а утром, коли хочешь, и иди на все четыре стороны...

Трактирщик говорил ласково, но мальчонку вел почему-то в подвал. И ладони у него вдруг стали холодными и липкими. Запахло сыростью и прелью, повеяло холодом. Под каменным сводом покачивался керосиновый фонарь, освещая бочки, кадушки и прочую утварь, сваленную в кучи. Трактирщик остановился перед массивной дубовой дверью, окованной железом и запертой на большой засов.

– Я не пойду! – заверещал Микитка и попытался удрать.

– Стой, паскудник! – одной рукой трактирщик удерживал вырвавшегося мальчонку, второй пытался отодвинуть засов.

С той стороны двери явственно донеслись постукивания и царапание.

– Сатана! – выругался трактирщик. – Уж середь бела дня заявился... Стой ты!..

Засов пополз в сторону. В следующий момент что-то обожгло трактирщика по предплечью, на земляной пол брызнуло теплым. Вместо игрушечного «коника» у мальчонки самым странным образом оказалась маленькая, но вполне настоящая сабелька. От неожиданности трактирщик выпустил свою жертву и зажал порез. Микитка долго ждать не стал и со всех ног кинулся наутек. Колченогий владелец заведения попытался было мальчишку догнать, но путь в

дверях преградила высокая широкоплечая фигура. Удар в челюсть, способный свалить быка, – последнее, что запомнил трактирщик, перед тем, как рухнуть спиной в кучу хлама...

Мешкать Ливнев не стал, дал знак, едва Микитка пропал из виду. На улице два «пьяных» извозчика скрутили не успевшую ничего понять дамочку. «Дремавший» кучер в мгновение ока оказался перед задним крыльцом, без разбега вышиб дверь плечом и нырнул внутрь. Вскочили с мест какие-то люди, прежде чем подвыпившая братия что-нибудь сообразила, перекрыли все ходы-выходы. Вдалеке слышались трели городских, берущих трактир в оцепление. Работать государева служба умела.

– Цел? – Ливнев погладил Микитку по щеке.

Тот кивнул. Мальчишку била крупная дрожь.

– Дед Опанас, – кивнул Ливнев спускающемуся по лестнице старцу: – Пригляди!

– Ох ты, батюшки! – гневно зыркнул дед из-под густых бровей. – Совсем ты, Нилыч, мальчика не бережешь!..

Этот седой, но на вид крепкий старикан, был, пожалуй, самой колоритной фигурой в окружении Ливнева. Одевался он в длинный, до пят, балахон, носил бороду по пуп и нигде не расставался с затейливым витым посохом, едва ли короче себя самого. Себя считал дед колдуном и травником, чем любил перед каждым встречным-поперечным прихвастнуть. Ливнев за стариком никаких особых способностей не замечал, но относился уважительно. Являл собой дед ходячий кладезь сказаний и легенд, знал беспредельное множество обрядов и заклинаний, и носил в голове своей четкую классификацию сверхъестественных существ и явлений, которую, по просьбе Матвея Нилыча, преподробнейше перенес на бумагу. Бестиарий деда Опанаса насчитывал несколько сотен страниц и казался сосредоточием небывальщины махровой, однако, в чем Ливнев неоднократно имел возможность убедиться, загадочные явления, порой, удивительно точно укладывались в предоставленные дедом описания. И, что еще более ценно, помогали указанные способы борьбы с этими явлениями. Выцепил Ливнев старца в Малороссии. Жил тот, против обыкновения, не на отшибе, а на хуторе, где слыл хоть и чудакон, да безобидным. Сотрудничать с государевой службой согласился дед не за деньги. Пораздумав, взял он с Ливнева обещание, что тот, перед его, старца, смертью, примет на себя его колдовской дар, тем самым облегчив муки отходящей в иной мир души.

Дед отвел Микитку в сторону, укутал в чью-то куртку, сунул маленькую, оплетенную берестой фляжку:

– На-ко, глотни. Да, гляди ж, один раз!..

Меж тем, погреб заполнялся людьми. Трактирщика упаковали по рукам и ногам, запищали в рот кляп и определили в угол. Напротив оклепанной железом двери, из-за которой вместо неясного постукивания доносились уже сотрясающие стену удары, развернули сеть. С одной стороны встали двое крепких молодцов, с другой один лишь «кучер», которого Ливнев звал Шалтый.

Был Шалтый раскос, как и полагается уроженцу монгольских степей, и приземист, будто дубовый пень. Силой же обладал чрезвычайной. Ладонью в стену гвозди вгонял, да их же пальцами вытаскивал. Мог опрокинуть за рога быка-трехлетку, а однажды приподнял в одиночку воз с мукой, да так и держал, пока ездовые сломанное колесо меняли. Еще владел Шалтый секретами особой борьбы, где насобачился не рассказывал, всяко где-то на родине на своей, но только никто его в рукопашной одолеть не мог. Он вообще говорил мало, поначалу и думали – немой. Только во сне, бывало, начнет по-своему лопотать быстро-быстро, словно боится не успеть куда. А что говорят ему, выслушает внимательно, поклонится и все сделает, как надо. Имел Шалтый еще одну особенность, начисто лишил его Всевышний эмоций. Ни разозлить, ни рассмешить его никогда не удавалось. И ничто не могло монгола испугать. Уж как только не пробовали, ни с того, ни с сего тарелки позади него били, в таз медный молотком стучали, из ружья даже палили – обернется Шалтый, посмотрит, как на пустое место и дальше по своим

делам идет. Ничего ему не стоило, скажем, в полнолуние по лесу прогуляться под волчье завывание, или, уж коли в этом нужда, могилу раскопать – покойного потревожить: умение, надо сказать, незаменимое.

Откуда-то из-за спин стрелков со взведенными револьверами задумчиво проскрипел дед Опанас:

– Сдается мне, что там кобольд... А зараз, неплохо было бы держать наготове рябиновый крест...

– А-а, – Ливнев досадливо крикнул, – тут не угадаешь, что держать наготове, – Ливнев передразнил деда, – рябиновый крест или осиновый кол... Открывай, ребята!

Дверь распахнулась. Из темноты на свет шагнуло нечто мохнатое, одетое в лохмотья и мерзко пахнущее. На него тут же набросили сеть и повалили. Трое дюжих хлопцев пытались совладать с ревущим дурным голосом, брыкающимся и царапающимся существом. Дед Опанас протиснулся вперед и в секунду успокоил существо, ловко ткнув тому пальцем куда-то в шею.

– Только сдается мне, – молвил дед, – что это никакой не кобольд, а обычный смерд...

В дверной проем, бесшумно, будто призраки, устремились несколько человек с фонарями. В углу завозился, приходя в сознание, трактирщик.

– Господин Кутейщиков, если не ошибаюсь? – поинтересовался Ливнев негромко, но весьма зловеще.

Трактирщик часто-часто закивал. Ливнев жестом велел вынуть тому кляп и продолжил:

– Это кто?

Кутейщиков взглянул на лежащего «кобольда», сглотнул и севшим голосом поведал:

– Это?.. Это братец мой, Степка... Дурной он... Самасшедший стало быть... По-людски и говорить не умеет. Ревет, аки зверь. А только он добрый, мухи не тронет...

– А куда ты, ирод, мальчика вел? Отвечай! – набросился на трактирщика дед Опанас. – Да в глаза мне гляди, душегубец!

– Так я того... стало быть... кваску холодненького, – замямлил трактирщик и осекся.

В погреб ввели слегка помятую дамочку. Даже при тусклом освещении было видно, как помутнели ее зрачки. Руки безвольно свисали плетьюми, да и стояла она с трудом, покачиваясь из стороны в сторону.

– Узнаете ли вы эту женщину? – спросил Ливнев трактирщика.

– Я... я... не припоминаю...

– А вы, узнаете этого господина?

Дамочка окатила трактирщика мутным взглядом и слегка кивнула:

– Это Сидор Кутейщиков... Полюбовник мой...

– Что вас связывало?

– Я с улицы людей заманивала, взамен он кокаин мне давал.

– Что было дальше с этими людьми?

– Он братцу их своему сводил... На растерзание, – дамочка всхлипнула.

– Молчи, дура! – Кутейщиков не выдержал. – Что вы ее слушаете, она же не в себе! – глаза его бегали, лицо покрылось испариной.

Из темноты дверного проема вывалились перемазанные грязью люди. Один из них поставил узелок, развернул, брезгливо вытер пальцы.

– Там подземные ходы, без конца и без края. Нашли вот...

– Что это?

– Кости человечьи...

Дамочка пошатнулась и осела на пол. Поднимать ее никто не спешил.

– Я не хотел! – трактирщик заплакал. – Христом Богом... Он таким не был, пока батька жил. А потом на людей стал кидаться, скалился... Да он же батьку и...

– Откуда ход за дверью?

– То еще дед мой рыл, когда трактир строил. Разбойники через него ходили, из самых из подземных пещер. Туда пойдешь – сгинешь... Завел я туда Степушку, а дверь закрыл. Думал – пропадет. Так не поднимешь руку на него, брат ведь... Долго его не было, я уж и свечку за упокой поставил, а тут является, стучит, бьется – есть, мол, давай. Так я сначала кошек и собак ему кидал. Да они ж махонькие, надолго ль ему хватит? А после и пьянчужку бездомного свел, что под крыльцом ночевал. Так и пошло... Эх доля моя горькая!..

– А кашей да хлебом-то отчего не кормил его, упырь?

– Да где ж взять-то столицы? То ж убыль одна...

– Вас ждет виселица, Кутейщиков. Я позабочусь, – пообещал Ливнев и направился к выходу.

– Матвей Нилыч, этот... людоед... нам нужен?

Ливнев обернулся, пожал плечами.

– Нет. Нечего здесь изыскивать. Ход завалить, этих двоих – под суд.

– Не погуби-и-и!..

Вой Кутейщикова вскоре смолк, и, вероятно, виной тому послужил водруженный на место кляп. Однако судьба трактирщика Ливнева отныне не интересовала. Еще одна акция проведена впустую. Сотни часов кропотливого труда не принесли ни зернышка, ни крупинки результата. Ничего. Если, правда не считать двух-трех десятков раскрытых убийств. Ну, так этим пусть занимаются те, кому полагается.

«Легки на помине», сморщился Ливнев, когда на пороге рюмочной столкнулся с обер-полицмейстером. Тот явился как с картинки: толстый, потный, китель застегнут, но за исключением двух пуговиц, верхней и нижней; фуражка на затылке, щеки пышут жаром, в голове винограет. Следом семенил заместитель, похожий, как брат близнец, только морда поуже и живот поменьше.

– Милостивый государь! По какому праву вы распоряжаетесь? Вы кто, вообще, такой? Я не позволю!..

Ливнев был не в настроении. Он просто ткнул в мясистый нос свою чудодейственную грамоту и произнес:

– Поздравляю! Блестящая работа! Вашими стараниями обезврежена целая шайка опаснейших преступников...

Внизу сухо треснул револьверный выстрел.

– Один, – Ливнев потер переносицу, – при задержании был застрелен, – и рывкнул, не давая опомниться: – Благодарю за службу!

Обер-полицмейстер вытянулся во фрунт, вытаращил глаза и не нашел ничего лучшего, чем взять под козырек.

Микитка спал. По крайней мере, пока в карету не сел Ливнев.

– Испугался? – Ливнев чмокнул мальчугана в белобрысую макушку.

– Немножко, пап...

Когда никого вокруг не было, Микитке разрешалось называть папу папой. Он потер кулачками глаза и ткнулся отцу в грудь, такую большую и надежную. Ливнев вздохнул. Он посвятил службе свою жизнь, в праве ли он посвящать службе жизнь сына? Чему-либо посвящать?.. Микитке даже саблей своей пришлось воспользоваться. Впервые. По-настоящему. Ему эту сабельку сделали больше для его собственной уверенности, хотя и владел он ей неплохо. Превосходно владел для семилетнего ребенка. Уроки Шалтыя даром не прошли. Новобранцы зеленые, те недоумевают, зачем, мол, нам денно и ночью разучивать приемы борьбы, стрелять, фехтовать, зачем нам прыгать, будто лягушки, ползать, как змеи и лазать по деревьям, как белки? Зачем, если, все одно, против сил сверхъестественных умения такие бесполезны? Ливнев снова вздохнул. На то они и новобранцы. Даже Микитка знает, что в абсолютном большин-

стве своем, дело им придется иметь не с призраками бестелесными, а со вполне реальными людьми. При чем, далеко с не самыми лучшими, зато с увесистыми кулаками да острыми топо-рами. Сколько обычных преступлений раскрыли по ходу дела, Ливнев и считать перестал.

– Расскажи про маму, – попросил Микитка.

«Э-э... Совсем раскис мальчуган», улыбнулся Ливнев. Обнял сына за плечи, прижал к себе.

...Это было давно. Не столь давно по времени, сколь давно по себе самому. Молодой, но подающий большие надежды по дипломатической линии, Ливнев приехал погостить к дяде в Вологодскую губернию. Визит любимого племянника, который «все больше в Петербурге да по Европам» наделал много шуму в большом, но захудалом поместье. Как водится, встречали широко, с гульбой, с пальбой, с соколиной охотой. Там, на охоте, и произошел случай, изменивший молодому дипломату всю жизнь.

Пустился Ливнев в погоню за лисицей, отбившись от других охотников в сторону. Кругом одни поля и перелески, негде рыжей спрятаться, и уже вроде бы стала та уставать, сдаваться, как задурковал под Ливневым конь. Хрипит, бьется, норовит седока с себя скинуть. И нет бы Ливневу с седла спрыгнуть, жеребчика успокоить, так угораздил его черт в горячке погони ошпарить непослушного плетью. А тот возьми и понеси. Это казаки, которые с пеленок к лошадям привычные, могут коню так ногами бока сдавить, что тот на коленки падает. Дипломатам же джигитовка ни к чему. Ездить Ливнев умел, не так чтобы уж очень плохо, но ни соскочить, ни совладать с жеребцом не может. Знай, сидит да, как умеет, держится, и на помощь позвать некого. А конь мчит, по кустам, по болотам, будто бес в него вселился. До тех пор нес, пока ноги у него не подкосились и не рухнул он на землю. Вылетел Ливнев из седла кубарем. Поднимается, ощупал себя, одежда вся изодрана, а сам, вроде как цел. Давай жеребца поднимать, тот ни в какую. Подергался, подергался и затих – дух испустил.

Огляделся Ливнев, местность незнакомая. И солнце уже за виднокрай упало, вот-вот стемнеет совсем. Делать нечего, пошел было по конским следам обратно, рано или поздно, думает, выйдет куда, как вдруг увидал меж деревьев огонек. И не так, чтобы вдалеке, а вроде как совсем близехонько, будто кто свечой по воздуху водит. Ливнев покричал, да там не откликаются. Он за огоньком, огонек от него. Что, думает Ливнев, за ерунда такая, кто с ним шутить шутки вздумал. Разозлился он и кинулся вдогонку. Только и огонек от него, и будто дразнит, то поближе подпустит, то вдаль умчится.

Сосенки заскорузлые царапают, чавкает под ногами болотина, а Ливнев и не думает погоню прекращать. Когда провалился по пояс в бурюю жижу, тогда только опомнился. Насилу выбрался и тут только заметил, что кругом лесная чащоба, и не видно ни зги. Содрал с себя Ливнев мокрую одежду, отыскал место посуше, да принялся кое-как ночь коротать. Хоть на дворе уже и сентябрь стоял, а ночи теплыми выдались. Начал Ливнев потихоньку кемарить. Только не тут то было. Поднялся среди деревьев ветер не ветер, треск не треск, будто ходит кругом кто-то огромный, стонет, ухаает и, вроде как, в ладоши хлопает. Рассказам про нечистую силу Ливнев никогда не верил, считал их выдумкой от первого слова до последнего. А тут один, в ночном лесу, и не в такое поверишь. Вжался в землю ни жив, ни мертв, да так и пролежал до рассвета, глаз не сомкнув.

Лишь забрезжило, вскочил, выломал дрын покрепче, и стал из болотины выбираться. Присмотрел солнышко по левую руку, и двинулся в путь – авось, выберется куда. Вскоре и следы чьи-то отыскал, шагать веселее стало. Шел, шел, уж и к полудню дело приблизилось, а болото не кончится никак. А следы наоборот, будто свежее стали. Смекнул Ливнев, что дело здесь не ладно. Засек сосенку повычурнее – ветви у нее затейным узлом переплелись, да еще и для верности кору ногтем снял. Так и есть, через некоторое время опять к той сосенке вышел. Глядит – его зарубка. А солнце как было слева, так и осталось...

Тут Ливнева в жар кинуло. Присел он на поваленное бревно, не знает, что и думать. А тут и голод о себе знать дает, потому как пообедал Ливнев хоть и плотно, зато вчера. Пошарил он по карманам, отыскал сухарик, только хотел погрызть, слышит, кто-то сзади и попросил:

– Дай!

Тоненьким таким голоском, протяжным. Оглянулся Ливнев и обомлел. Стоит позади чудо ростом повыше него, все толи во мху, толи в водорослях и глазами смотрит. Глазища те, вроде как человечьи, только огромные, аж жуть. И ни рук, ни ног у существа нету. Чем же, Ливнев думает, оно сухарик-то возьмет? И жутко на душе, и в то же время разобрало Ливнева озорство.

– Лови, – говорит, – кушай на здоровье.

Тут захохотало что-то над ним, заухало. Отвлекся Ливнев на миг, глядит, а перед ним уже не чудище, а самая обыкновенная сосна. Тогда Ливнев палку в отбросил, да как задал стрекача, дороги не разбирая. Бежал от этого треклятого места сколько мог, покуда ноги от усталости не подкосились.

Плутал Ливнев по лесу еще несколько дней, сколько, и сам вспомнить не мог. Питался клюквой и сырыми грибами. Стали ему от голода голоса слышаться разные, да видения приходить. Как-то под вечер свалился от усталости, не держат ноги, хоть помирай. Да и видит, будто склонилась над ним девушка. Сама молоденькая, хорошенькая, в волосы цветы вплетены. Глядит – улыбается. Пока раздумывал Ливнев, морок ли это, явь ли, стала его девушка за руку тянуть, поднимать стало быть. Из себя она щупленькая, росточком Ливневу по плечо, а сильная не по-женски, тащит Ливнева на себе, хоть бы что, а весу-то в нем немало.

Вывела она не к деревне, не к людям, а к избушке, что прямо посреди леса стоит. Избушка та крохотная, чуть поболее собачьей будки, об одном оконце, крыша дранью покрыта, старой, сплошь мхом да лишаями поросшей. Пока маялся Ливнев в горячечном бреде, помнился ему смутно низкий потолок из неструганных досок, развешанные повсюду коренья и травы в пучках, широкая лавка, устланная пахучим сеном, жар от печи, да горькие настои, которыми потчевала хозяйка.

Звали ее Оксана, жила она одна, коли не считать черного, как уголь, кота, да козу. С малых лет воспитывала Оксану бабка. Здесь же, в лесу учила грамоте и ведовству, пока сама не захворала и не померла. Говорила Оксана, будто умеет понимать язык зверей и птиц, будто может наговоры творить, порчу снимать, да варить разные снадобья предназначения и свойства самого разнообразного. За этим к ней и наведываются крестьяне из деревни, что верстах в пяти будет. Кому приворотного зелья, кому отворотного, у кого скотина захворала, кого домовой изводит. В оплату сукно приносят, соль, муку, да разные разности о которых попросит ведунья.

Поведал ей Ливнев про свои мытарства и просит, истолкуй мне, мол, по-своему, что со мной приключилось. Оксана расспросила претщательнейше как чего, а после и говорит, что коня его испортил луговой, не по нраву ему, видать, пришились господские охотничьи забавы. И тут, значит, свезло Ливневу в первый раз, потому как мог он убится запросто. Второй раз свезло Ливневу, когда он погнался за бродячим огоньком, чего, даже дети малые знают, делать нельзя. Утопил бы его озорник в болоте и поминай, как звали. А после, это леший ухал и стонал над ним всю ночь, он же и водил кругами по лесу. А нужно-то было всего ничего, взять, да и вывернуть наизнанку всю одежду, тогда бы отстал лешак. Сухарик у Ливнева просила кикимора, откупился он, стало быть, тем, что не растет в лесу. Видно, кикимора и отпустила его из замкнутого круга. Это был третий раз, когда Ливневу улыбнулась удача. Слушает Ливнев, смотрит в глаза ведьмины зеленые и не знает верить или нет. С одной стороны околесица полная, а с другой, как то уж больно складно все выходит.

Долго ли, коротко ли, оклемался Ливнев и собрался по утру уходить... И не мог он сказать, что тому виной, то ли приворожила его Оксана к себе, то ли сама по сердцу пришлась, без всякого приворота, а только последнюю ночь провели они вместе...

Рассказала Оксана, как до деревни добраться, вышла на рассвете Ливнева проводить, а сама глядит в сторону, чтобы слез не показать.

– Вот тебе, – говорит, – на память, – и протягивает Ливневу камушек на нитке, такой зеленый, как глаза у нее самой. – Носи, не снимай, это от многих напастей оберег. Посмотришь – станешь меня вспоминать... Ступай, да не оглядывайся... Не увидимся мы боле...

– Эх, вот дуреха-то! – прижал ее Ливнев к себе крепко-крепко. Хоть у самого на душе кошки скребут, а виду не показывает. – Вернусь к тебе через год. Обещаю! Замуж возьму!

Крепко запала ему в сердце лесная ведунья. Твердо вознамерился Ливнев увести ее с собой. Жалел, что сразу не увез, хоть силком. А только суждено было пророчеству Оксаны сбыться...

Как и сказывал, через год наведалься Ливнев в те места снова. Да уже не просто так, а в личной карете, с двумя сопровождающими, поскольку в немалом чине ходил. Был Ливнев навеселе, предвкушал встречу, слова придумывал, которые скажет, да вертел в руках зеленый камушек. Тут напросился попутчик – мужичок из той как раз деревни, рядом с которой стояла Оксанина избушка.

– Возьмите, – говорит, – добры люди, хоть на козлах доеду.

– Чего ж на козлах? Залезай внутрь, – разрешил Ливнев, – поговорим.

– Об чем же мы с вами гутарить-то станем?

– А вот о чем, – Ливнев подсел поближе. – Расскажи-ка мне, мил человек, не знаешь ли ты такую Оксану, что в лесу живет?

– Ведьму-то? Эка! У нас ее всяк знает! Да только нет ее боле...

– Вот как? А где ж она?

– Э-э, барин, – протянул мужичок, – издалека вы видно едете. То ж целая оказия была. Об этом даже в газете пропечатали.

– Ну, расскажи, любезный.

– Чего ж не рассказать, расскажу. Дело все началось с того, что стало у наших коров молоко пропадать. Ага. Попригляделися пастухи, так и есть, ведьма выдаивает. Сорокой, значит, обертывается, скачет про меж ног и выдаивает...

– Как же это сорока может корову выдоить? – изумился Ливнев. – Ключом-то?

– Постой, барин! Ты ж главного не знаешь!.. Вот... Потом у Ивана Бугая, кузнеца нашенского, кобыла захромала. Такая справная животина была, а тут стала припадать на задок. А после на курей мор напал. Все чисто и полегли... Мы собрались и пошли ведьму просить, сперва, по-хорошему. Ты, говорим, перестань молоко воровать, оставь Иванову кобылу и верни курей... Что это ты, барин, лицом почернел? Приболел никак?.. Ну, слушай дальше. Думаешь вернула она курей? Вот! – мужичок сложил кукиш. – Еще и наслала засуху. Месяц ни дождичка, ни росинки. А у Ивана Бугая кобыла и вовсе сдохла. Мы к старосте. Сообща составили петицию в уезд, так, мол, и так, где это видано, чтобы целое селение из-за колдовства страдало? Ага. Приходит, значит, из уезда ответ, что нонче в колдовство верить не велено. Ну, думаем, чертовка, и уездное начальство околдовала. Что тут скажешь? Решили своим судом ведьму судить. Дарья-то, кума Бугаева, слышала, что ежели ведьму за волосы вокруг села оттащить, то чары ейные развеются... Мы для верности аж два круга...

Ливнев слушал. Глаза его застилала кровавая пелена.

– ...А Бугай-то вспомнил, что самое лучшее средство супротив ведьмы – тележная ось... – мужичок осекся. – Ты что это, ба...

Голова его дернулась от удара, хрустнул сломанный нос. Ливнев сгреб попутчика за шиворот и на ходу забросил прямо в придорожную канаву. Заорал кучеру не своим голосом:

– Гони!!!

...Хата кузнеца нашлась быстро. Открыл сам хозяин:

– Ежели сковать чего, так по утру в кузню приходите...

- Оксану, помнишь? – негромко осведомился Ливнев.
- Чего?
- Ведьму, говорю, помнишь?
- Ведьму? Ведьму помню... Чего ж не помнить... Живучая была зараза...

Дальнейшие события для Ливнева распались из целого на куски. Вот он охаживал бесчувственное тело кузнеца дровиной из поленицы, приговаривая: «Тележная ось тебе! Тебе тележная ось!» Вот, расшвыривая всех, кто попадался под руку, успел подпалить три хаты. Вот толпа селян с кольями смяла, погребла под собой. Вот сопровождающие, паля из револьверов в воздух, разогнали свалку, подняли Ливнева, перепачканного в крови своей и чужой, на ноги:

- Матвей Нилыч, одумайтесь! Каторга ведь!..
- А тот, не слыша, повторял, как заведенный:
- Всех порешу, всех... С лица земли сотру... Всех до одного...

После сел на землю, обхватил голову руками и заплакал...

Ливнев помнил, как стоял, уронив голову на грудь, у заросшего бурьяном холмика без креста, что за оградкой кладбища. Со стороны села тихонько приблизилась сторбленная старуха, прижимая к груди какой-то сверток. Прошамкала, глядя в сторону:

- Малец при ней был грудной... Что мы, звери, что ль?.. Микиткой окрестили...

Ливнев принял из рук старухи младенца, осторожно развернул тряпье. Глянули на Ливнева зеленые Оксанины глаза. Ни слова не сказав, завернул Ливнев ребенка в свой китель, сел в карету и укатил прочь.

Да больше уж не возвращался туда.

...Стелились за окнами поля, проплывали мимо верстовые столбы. Ливнев потрянул головой, отгоняя воспоминания.

- Расскажи про маму, – снова попросил Микитка.
- Ливнев сгреб сына в охапку, прижал к себе, утаивая слезу:
- Красивая она у меня была... Прямо как ты...

* * *

Он вошел в станицу с востока, вслед за первыми лучами солнца. Служивший посохом молодой узловатый дубок, иссеченный дождями и обожженный полуденной жарой, клюнул взбитый копытами суглинок и замер. Бросившиеся было на незнакомца дворовые кобели, остановились в нерешительности, уловив исходящий от посоха запах мертвого волка, поворчали глухо и предпочли убратся прочь.

Судя по стоптанным лапоткам, явился путник издалека. Был он уже не молод: густая сеть морщин, покрывавшая коричневое от загара лицо, терялась в седой окладистой бороде, однако глаза из-под нависших кустами бровей смотрели живо. Все имущество странника умещалось в заплечный мешок на лямках да котомку у пояса. Холщовая рубаха до колен, подпоясанная веревкой, и выдавшие виды порты, болтались на щуплом теле, как мешок на палке.

- Доброго здоровьица, красавицы! – путник поклонился бабам у колодца.
- Здравствуй, мил человек!..
- Не возьмет ли меня кто на постой, бабоньки, али нет ли у вас на селе какой хаты на продажу?

– А ты никак поселиться решил, добрая душа? – вперед выступила, внушительно подперев бока, розовощекая казачка.

- Кончики ее чепорка, завязанного узелком на лбу, воинственно топорщились.
- Знамо дело, решил! – путник пристукнул посохом, будто подтверждая весомость слов.
- Из каких краев будешь-то к нам? – казачка не унималась.

– Издалека пришел. Отселе не видать. А же сам православный и худа не роблю, – путник размашисто перекрестился и отвесил поклон. – Могу по сапожной части, могу по гончарному делу...

– Ишь ты! Сапожник без сапог!..

– Антонина, шо ты накинулася на человека? – вступилась рыжая соседка-толстушка, отирая мокрые руки о подол. – Как все равно, блоха на зипун!.. На продажу у нас хаты нету, да только есть бобылихинский курень. Так он ничей! Там баба жила, Бобылиха, она померла в запрошлый год...

– Дура ты! – огрызнулась Антонина. – Я же узнать!.. А может он каторжник беглый?.. Али еще что... А в курене в том крыша по весне провалилась!

– Сама ты дура! Колода безмозглая! Какой он каторжник? Каторжник тот, как зыркнет, так душа в пятки уходит! Я сама видала, такого в кандалах по ялмарке водили!.. А крыша-то провалилась оттого, что Васька Косой стропила снял...

– Так где ж он, курень этот? – путник не выдержал.

– А иди вот прямо, сначала Гапкина хата будет, потом тереховский двор, потом Кондрат, Хваник, Гузей, после поповский дом, Горпинка, Егорька, Сульманы, Фроська, Пантюхи, Шуренька, Бадей, Цыганы, Соша... За Сошей зараз и тэй курень. Самый последний от краю.

– Спасибо, красавицы, – путник в третий раз поклонился и засеменял вдоль единственной улицы.

– Как тебя звать-то, дедушка? – окликнула девчушка с длинной черной косой.

– Кличут Птахом.

– А по батюшке?

– Дык, сиротой я вырос, дочка. Отца с матерью не знал...

Так в казачьей станице Лесково появился дед Птах.

Крышу новоявленный селянин поставил быстро – пособили казаки. Привезли дров, вправили грыжу на внешней стене. Дед совал было рубли за работу, но те не взяли. Ушли так, похристиански... Неся по литру самогона в желудках.

Из всего хозяйства развел Птах только десяток кур. Купил на зиму муки, овощей. Сам стал тачать сапоги, починял хомуты, седла, иную упряжь, плел лапти, корзины; никто на селе не делал к ножам и нагайкам лучших наборных рукоятей. Раздобыв ружьишко, начал Птах хаживать по окрестным лесам и перелескам, давшим название станице, брал ягоду, грибы, когда и дичинкой разживался. Тем и жил. Вечерами сживал с другими стариками на завалинке, однако махорки не дымил, жалуясь на большую грудь.

Однажды казак Шкарпетка, изрядно подгуляв на стороне, надумал поучить жинку уму, и, выломав из ограды дырн, принялся гонять голосащую бабу, одетую в одну исподнюю сорочку, по селу. Подобные случаи являлись не такой уж редкостью и случались с завидным постоянством. Станичники по поводу и без повода своих благоверных поколачивали.

– Остынь! – неодобрительно гудели мужики.

Повизгивали бабы. Но вязываться никто не решался: Шкарпетка славился бычьим упрямымством и дурным норовом.

– Мое дело! – басил он, свесив чубатую голову. – Хочу убью, хочу покалечу...

– Людечки, рятуйте! – шкарпеткина жинка проворно перебирала босыми пятками, уворачиваясь от более медленного своего супруга.

– Слышь, парень! Остепенись-ка! – у околицы вышел навстречу Птах, загородил дорогу.

– Иди домой, дед! – почти добродушно посоветовал Шкарпетка. И добавил, видя, что старик не двинулся с места: – Дважды не прошу...

– Дык, тожа я дважды не повторяю, – Птах вызывающе оперся о палку.

– Ну, гляди, – Шкарпетка пожал плечами и отвел руку для удара.

– Ой, тикай, дед! – только и взвизгнула жинка.

Птах как-то ловко продел свой посох меж Шкарпеткиных ног и крутанул.

– Га! – выдохнул бугай, приземлившись на спину.

Поднялся непонимающе, отряхнулся и не спеша закатал рукава.

Удар, способный свалить лошадь, пришелся по воздуху. Шкарпетка покачнулся и загремел носом вперед...

Селяне, собравшись поодаль, лицезрели картину, достойную пера уездного живописца: вываленный в пыли, в разорванной рубахе Шкарпека неистово бросается на деда, щуплой своей фигурой напоминающего камышовую тростину, бросается, и всякий раз с чувством, значимо шмякается оземь всем своим немалым весом. С перекошенной в ярости окровавленной физиономией он походил на разъяренного медведя, лапающего утыканную гвоздями бочку. Птах же заметных усилий в движениях не выказывал, поблескивал глазами да припрятывал в бороде улыбку.

– Охлонись-ка трошки!..

Шкарпетку окатили из бадьи колодезной водой. Тот остановился, обвел мутным взором собрание и так, ни слова не говоря, похлопал к дому. Следом, всхлипывая и причитая, потянулась жинка.

Случай этот прибавил уважения Птаху. Поглядывали на него станичники с одобрением и затаенной настороженностью: не так прост оказался этот старичок. И долго еще поговаривали по селу, посмеиваясь:

– Да-а, причесал Шкарпетку, так причесал...

Вскоре после появления Птаха объявилась еще одна странность: стали появляться в округе загадочные знаки: буквы – не буквы, цветы – не цветы, сплошное недоразумение. На придорожных валунах, в иных приметных местах, высекал непонятно кто непонятно зачем неведомые фигуры. Вся станица заговорила в голос, когда однажды утром на отлоге Меловой горы, что над речушкой Вирком, полевые булыжники сплелись в диковинный узор.

Казак собрались на сход и хотели камни раскидать, узор порушить. Но старики запретили. Много, говорят, мы чего не знаем. Живите себе, мол, и не суйтесь, куда ни попадя, не навлекайте беду. Может, это, говорят, сама земляца, за какой своей надобностию камушки-то разложила...

Хуторской атаман сочинил петицию аж в сам уезд, где подробно расписал где, какие, в каком количестве фигуры замечены. Хотел было под впечатлением еще присовокупить про водяного, что якобы ругался по матери на Моховом болоте, и про чертей в Сошиной хате, но решил воздержаться. На том и успокоились. Падеж скота в станице не случался, мор на курей не напал, поэтому о знаках погугарили да забыли. И поважнее дела есть в крестьянском хозяйстве.

* * *

Святочный снег хрустел под ногами так, что зудели ступни. Плакали липкой смолой желтые кругляки свежих спилов. На морозе толстые ровные сосны гудели под топором, как басовая струна. Савка лично обошел каждое бревно, простучал, проверяя нету ли где скрытой гнильцы, метил у комля засечками, дабы не счесть дважды.

– Лес добренный! – подрядчик Михей спрыгнул с воза и виртуозно высморкался, не снимая рукавиц. – В воде станет лежать и не согнет... А где ж сам Кирила-то будет?

Савка, повышенный из разнорабочих в хозяйские подручные, вопрос оставил без ответа.

– Шести палок не хватает, – изрек он, почесав лоб. – Дважды считал.

– Ты, парень, считай-то получше... А то мне засветло надобно к дому успеть!

В новой должности Савка пребывал недолго, но к разному люду притерпеться уже успел.

– Ты мне, дядя, зубы не заговаривай! А недостачу вынь и положи!

–

Ох, ты! Ох, ты! Расходился, как холодный самовар!.. Вот же бревна-то, гляди!

–

Где?

–

Да, вот же! – подрядчик проворно сунул Савке за отворот рукавицы мятый рубль.

Савка нахмурился, сгреб Михея за грудки и внушительно прогудел в самое ухо:

– Сроку тебе час. Не будет шести палок – доложу хозяйке.

После стащил с подрядчика шапку, отправил туда целковый и нахлобучил шапку обратно на лысеющее темя.

Жизнь на подворье кипела ключом. Разгружался обоз с курдючным салом, привезенным для свечного заводика. Производство налаживал инженер из уезда, бранился с мастеровыми, жаловался хозяйке, грозился уехать, но дело двигалось. Местный приход уже разместил заказ на четыре сотни свечей и даже завез под это дело воск.

Проворовавшегося Кирильца отправили бригадиром на карьер. Там днями и ночами жгли костры, оттапливая мерзлую глину. Глину рыли, нагружали на подводы и отправляли на подворье, где замешивали, да не просто, а по специальному рецепту, на яйце, и обжигали до цвета красной свеклы. Евдокия прикинула, что наладить производство кирпича выйдет дешевле, чем закупать со стороны. А требовалось его в преизрядном количестве.

Вот закончили фундамент новой кузницы на четыре плавильных печи, уложили в основание дубовые лаги, завтра плотники начнут тесать на стены привезенный Михеем лес. А у хозяйки уже новый замысел – мыловарню поставить, мол, дешево нынче сало, грех не запастись.

Савка вообще диву давался, как, почитай за полгода, на голом месте Евдокия смогла освоить такое хозяйство. Гильдиец Ухватов-то, например, тот уже лет двадцать в Антоновке крутится, вьюном вьется... Да что двадцать... Еще отец его по купеческой линии начинал. Или даже дед?.. А ведь по обороту-то Евдокия его уже, пожалуй, и переплюнет. Сметлива баба, что и говорить, за версту выгоду чувствует. А может и впрямь, ведьма...

Савка усмехнулся мыслям, поддел топором обороненное полено, ловко отправил в поленницу. Что-то пролегло меж ними тогда, вечером, после ярмарки, когда отбились от злодеев. Сблизило. Он не только за посуленный целковый, за сто рублей, за тысячу хозяйку не подведет. В лепешку расшибется, а не подведет! По роду новой должности своей Савке теперь часто приходилось бывать в купеческих хоромах. Эхма, хоромах! Одно название. Обычный дом, просторный, теплый, светлый. Добротный, как и все в хозяйстве, но без излишеств. Ни тебе сундуков с добром, ни толстенных перин, ни комодов с фаянсом. Раз даже Савка случайно заглянул в спальню хозяйскую. Так там вместо пуфиков, да рюшечек все завалено бумагами и приборами разными научными, вроде тех, что покупали в канцелярской лавке во Владимире. Да столько этих приборов диковинных у Евдокии, что ей самой впору лавку открывать.

А однажды застал он хозяйку без головного платка, увидал и опешил, открыв рот. Волосы-то у нее короткие, короче савкиных, как будто тифом хозяйка переболела. А та не смутилась нимало, улыбнулась – блеснула зубами, да искорка в глазах мелькнула, чертовщинка.

– Языком не трепи только! – велела.

Спокойно так, ласково даже. Доверяет, вроде как.

И не старая она совсем. Пожалуй, не будет ей еще и тридцати.

На козлах пиляли доску. Вжикали сдвоенные пилы, усыпая утоптаный снег желтыми ручьями пахучих опилок. Мыкола, неспешно оглаживая вислые пшеничные усы, собственноручно размечал ошкуренные бревна: прихлопывал округлые бока начерченным паленой дровиной шнуром, что натягивали по краям двое подмастерьев. Такая работа требовала наметанного глаза, недюжинного опыта и твердой руки.

– Нуко-ся, дай-ко гляну, – Мыкола отстранил пыльщик и прищурился. Покрякал, поморщился и приговорил вердикт: – Как вол посцал!..

Это была не самая худшая оценка из уст плотника. Ибо за зарезанную доску нерадивые работники могли вполне и по шее схлопотать мозолистой пятерней.

Мыкола увидел Савку, махнул рукавицей, мол, отойдем в сторонку, погударим. Сам из-за отворота овчинного полушубка, задубевшего на морозе, извлек кисет, проворно закрутил сигарку покрасневшими пальцами, знатно засмолил, уронив слезу.

– Чув? Хозяйка-то наша кузню собирает пущать.

– Слышал, – Савка кивнул.

– Хо-хо, – пробасил Мыкола. – Гнилое это дело.

– От чего ж?

– Чтобы жалезо гнуть навывк нужон. Где столь мастеров сыскать?

– Небось, мало кузнецов в Антоновке!

– Хо-хо, – колоколом отозвался Мыкола. – Не балусь! Ковали – вольного норова люд. Гордые из себя. На что им? Поди, не бедствуют, на паперти не побираются...

Савка нахмурился. В мудрость хозяйки он верил свято, однако, и в словах плотника был свой резон.

– Я год молотобойцем отмахал, – гнул свое Мыкола. – Знаю, почем фунт изюму! Косье склепать – не камаринского сбачать!.. Баба она справная, тут разговору нет...

– Вот, пусть ее голова и болит. Нам-то что за печаль?

– Ох, – Мыкола закашлялся, – чую сердцем – прогорит. Сама гроши спустит и мы по миру пойдем. Не по мерке валенцы скатаны...

– Меня ты на что позвал? – Савка разозлился. – Посудачить охота?

– Ты ба погударил с ней. Растолковал что да как. Тебя она слушает, – Мыкола хитро подмигнул. – В хату пущает...

– Тю-ю! Вот дурак!

Савка хотел показать, будто сердится, но против воли разулыбался, от чего залился краской до корней волос.

– Потолкуй. Может отступится ишшо...

Савка терзался целый день. Несколько раз взбирался на высокое крыльцо, безостановочно проговаривая про себя нужные слова, лапал щеколду, и в последний момент передумывал. Махнув рукой, разворачивался и уходил. Но когда ввечеру на подворье пришла дюжина саней, груженных железными чушками, не выдержал. Ввалился к хозяйке и прямо с порога выпалил, все, что накопилось на душе.

Отваливались от валенок струпья снега, тая, расплзались лужицами на полу. Глядел на них Савка, опустив голову, сминал в руках шапку.

– Все, што ль? – Евдокия оторвалась от вороха бумаг. – Ну, так и ступай с Богом! Я уж думала стряслось чего... Заботливый, ишь ты! – и улыбнулась, обнажив ровные белые зубы.

Савка пулей вылетел вон, проклиная Мыколу, себя и весь свет. В дверях столкнулся с Козьмой Ильиным, антоновским кузнецом. Слышал Савка, будто манила хозяйка кузнеца к себе на заработки, посулив жалование вдвое против его, Козьмы, нынешнего дохода.

«Будь, что будет», решил Савка, «По голове и шапка! Не мое то дело».

А меж тем, кузня росла, как тесто на дрожжах. Да какая кузня! Не мастерская, а целый кузнечный цех. Когда метали стены, одного только моха на прокладку ушло пятнадцать возов: по возу на венец. Печники прожигали печи – проверяли тягу, и от этого, не смотря на непокрытые еще ребра крышных стропил, внутри было тепло.

Начать выпуск Евдокия решила с чего попроще, с трехзубых вил.

Взялись за дело рьяно. Одного работника поставили переплавлять чушки в железный прут. Второго – рубить прут на заготовки. Третий гнул ушки для насадки на вилошник – буду-

щую деревянную рукоять. Четвертый собирал заготовки в целое, спаивал в печи. Пятый острил зубцы. Подсобные рабочие качали меха, подтаскивали дрова, убирали мусор – кузня гремела, вертелась, сыпала искрами и дышала пеклом. При всем при этом, среди многочисленного народа был только один настоящий кузнец – Козьма. Остальные работники по умению не годились даже в молотобойцы. Козьма молота в руках не держал, мягкое железо на наковальне не лепил – ходил кругом, без усталости развешивал затрешины, молча, лишь бешено вращая глазами, в первый же день осипнув от крика.

Первую партию трезубцев Козьма забраковал целиком, всю отправив в переплавку, не в силах глядеть на кособоких уродцев. Из второй отобрал пять лучших, худо-бедно годящихся на продажу. Из следующей – восемь.

– Шуму много, а толку – пшик! – весело переговаривались антоновские кузнецы. – Каждый из нас в одиночку больше накует, чем вся эта ватага!..

– Воистину! Мастерство не пропьешь! – и отправлялись в кабак доказывать справедливость своих слов.

Пуще всех радовался Ухватов, следящий за успехами молодой купчихи с ревностью необычайной.

– Хлебнет, ой, хлебнет она лиха со своей агромадной кузней, – глядел он сквозь заиндевшее окошко на клубящийся на морозе дым кузнечных печей и приговаривал сыновьям, тыча в стекло пальцем. – То вылетают на ветер деньги!..

Шли дни. С тяжелым сердцем Козьма возвращал вилы в переплавку. Он осунулся, почернел лицом и стал ночевать в мастерской, которую Евдокия называла непривычным словом «мануфактура». Переломным стал девятый выпуск кузни – в брак отправилась меньшая половина партии.

И с той поры работа пошла. Словно ножом отсекло.

Трезубцы выходили одинаковыми, как куриные яйца. Процент негодных сократился, а потом и вовсе исчез. Мало того, мануфактура вчетверо увеличила выпуск против первоначального и еще продолжала набирать обороты: работники набили руку на монотонных операциях. Шестерых широкоплечих хлопцев, качающих меха, заменила пара волов и мальчишка с хвостистой. Печи переложили под уголь, дававший больший жар.

Вскоре наладили выпуск топоров, лопат и кос. Замахнулись на бороны с железными зубьями и плуги. Козьма приосанился, заходил гоголем: хозяйка жалованием не обижала. Рабочие тоже старались всю – зарплата сдельная, как потопаешь, так и полопаешь.

Мануфактурный товар не уступал качеством кустарному, а в производстве обходился куда дешевле, став костью в горле местных мастеров. Конкурировать с массовым производством было невозможно. Кузнецы довольствовались разовыми заказами: гнули решетки, запивали прохудившиеся чугуны и ведра, да учиняли прочий ремонт домашней утвари. Кто-то обанкротился и подался в работники к Евдокии, кто-то, прокляв все, уехал.

Дело близилось к весне и на хозяйственный инвентарь наклонился немалый спрос, но Евдокия все же производила товара больше, чем могло понадобиться в Антоновке. И в соседние волости, стремясь успеть до распутицы, один за другим уходили обозы, до отказа груженные новехоньким шанцевым инструментом, завернутым, дабы не взялся ржавчиной, в промасленную бумагу. А обратно тоже холостыми не ходили, везли железо для кузни и курдючное сало на свечной заводик да на мыловарню.

Для своей продукции Евдокия изобрела клеймо, которое велела ставить на все без исключения. На каждом топорище, на косье, на куске мыла присутствовала эмблема: то ли ящурка, то ли паук из палочек и черточек, да еще и внутри треугольника. Все находили марку несурзадной, советовали заменить на что-нибудь более понятное и представительное, вроде «КУЛАКОВА И К^о». Или просто на вензель в виде сплетенных инициалов. Но Евдокия, как всегда, никого

не слушала, пропечатывала свою эмблему в газетах и велела в точности изображать на всех вывесках.

Савка, как и все, гадал, что же это фигура такая непонятная, вертел клеймо и так, и эдак. Заметил, что если треугольник поставить на основание, вершиной кверху, то фигура внутри будто бы напоминает человечка. И человечек этот стоит на полу, а руками упирается в покатые стенки. Словно желает их раздвинуть и выскочить наружу.

* * *

...Ревин ожидал чего угодно. Суда, разжалования в рядовые, ссылки в Сибирь. Какое там! В полку его встречали, как героя. По меньшей мере, как Самсона, задавившего льва. Уж Александр, друг любезный, расписал подробнейше, постарался. Ревина не заключили не только на гауптвахту, но даже не посадили под домашний арест, и съемная квартира теперь напоминала питейное заведение: каждый из офицеров части, приходивший позвать Ревину руку и выразить свое одобрение, являлся, естественно, не пустым.

Полковник Стасович, слывший некогда бретером и крепко задававший по молодости пороку, ныне же почтенный отец семейства, произнес в офицерском собрании прочувственную речь.

– Обычай поединка, – говорил он, – имеет то же основание, что и война. Когда человек жертвует своим величайшим благом – жизнью, ради вещей, не представляющих никакой ценности в мире материальном. Умирает за веру, родину и честь! Когда мораль и право противоречат друг другу, чаша весов должна склониться в сторону морали, господа! И хоть формально я обязан наложить на ротмистра Ревина взыскание и предать его суду, я не стану этого делать. Более того, считаю, что поступок ротмистра достоин всяческого подражания. Уверен, что любой из присутствующих при известных обстоятельствах поступит также и не иначе. Также считаю своим долгом уведомить собравшихся, что не потерплю в своем полку трусов и доносчиков, пятнающих честь мундира, и приложу все свои силы, все влияние, чтобы избавить вверенное мне подразделение от таких лиц!

Стасович сообщил, что во избежание возможных уголовных разбирательств, следствием которых могут явиться вещи не самые приятные, Ревину предписывается в двухдневный срок убыть на Кавказ. И вручил рекомендательное письмо к начальнику Итумского гарнизона.

Собрав свои нехитрые пожитки, Ревин отбыл из части на следующий же день.

Ах, Кавказ, Кавказ... Своенравный, непокорный, острый, как кривая турецкая сабля, непредсказуемый, словно селевой оползень. Безрассудный в чувствах, хоть в нежности, едва слышной, невесомой, как белесая кисея смуглянок, хоть в ярости абреков, заросших по глаза густыми черными бородами. Кавказ, не признающий прощения, отрицающий милосердие, как недостойную слабость, Кавказ, текущий по жилам расплавленной местью, священной, как имя пророка...

Гарнизон стоял в крепости на холме, над певучей речушкой. Если час плутать по узкой каменистой дороге, то можно доехать в городишко Итум, ютившийся неподалеку глинобитными крышами у подножия скалистой гряды. При гарнизоне размещался казачий полк, новое место службы Ревина. Командир полка, высокий худощавый с обритой налысо головой и лихо подкрученными усами полковник Кибардин, пробежал глазами рекомендательные письма, усмехнулся:

– Сама добродетель... Хоть сейчас в ризу оформляй... Рискну предположить, вы, ротмистр, застрелили кого-то на дуэли!..

– Заколел, – склонил голову Ревин.

Кибардин крякнул.

– Готов поспорить – честь дамы?

– Так точно, господин полковник!
– Оставьте вы этот пиетет для парадов!.. Зовите меня по имени отчеству, если угодно.
– Слушаюсь! – Ревин улыбнулся.
– Вот и славно, – Кибардин убрал письмо в стол. – Возьмете вторую сотню. Там ребята лихие у меня, но и вы, вижу... М-да... Словом, обживайтесь, знакомьтесь. Как говорится, нашему полку прибыло...

Гарнизонная жизнь разнообразием не отличалась: карты, вино и пари.

Время от времени окованные железом дубовые ворота отворялись и выпускали конные отряды, с лихим присвистом и улюлюканием отправляющиеся «замирять чеченов». В такие дни по долинам тянуло горьким дымом пожарищ от разоренных аулов. Косматые, страшные, как сами абреки, казаки лютовали в рейдах, и относительный порядок на Кавказе держался исключительно благодаря их шашкам да нагайкам.

Ревин коротал вечера в чтении всевозможных военных учебников и пособий. Он изучал все подряд, от тактики боя и артиллерийского дела, до рекомендаций по возведению мостов и фортификаций. Сослуживцы находили такое увлечение довольно странным и беззлбно, а подчас и не очень, над Ревиным подтрунивали.

Однажды среди офицеров разгорелся спор о преимуществах различных оружейных систем. Как водится, чисто теоретический диспут вылился в состязание по стрельбе. Пехотный капитан Одоев предложил пари: все скидываются на ящик «божол», достающийся победителю. Пари было беспроегрешным, так как при любом раскладе ящик распивался всей командой.

Решили лупить в туза. Первым стрелял поручик Востриков, под началом которого ходила третья сотня. Он поразил мишень с пятнадцати шагов и поднял пальму первенства. Штабист граф Аскеров, служивший в чине майора, отошел на двадцать шагов, но лишь смазал по краю карточки. Попадание не зачли. А вот Одоев из длиннотвольного Веблей-Скотта всадил пулю точно в центр черной пики. Переплюнуть капитана не брался никто, и Одоев уже готовился принимать лавры. Но тут взгляд его упал на Ревина, стоящего поодаль с отрешенным видом.

– Ротмистр, не желаете ли попытать счастья? – предложил он, – Побьюсь об заклад, вы досконально изучили по книгам теорию стрельбы, – Одоев развивал успех. – Поучили бы нас... Прошу, – он протянул свой револьвер.

Поколебавшись, Ревин принял тяжелый, отполированный до зеркального блеска, пистолет, повертел за скобу на пальце. И, не целясь, выстрелил.

– Попал! – несколько удивленно констатировали секунданты. – Господа, попал!.. Вот ваш бубновый...

– Повезло, – дернул плечом Одоев. – Будем перестреливать!

Капитан долго выцеливал едва видимую карточку, но все же подтвердил свой результат.

– Ваше слово, Ревин!

– А хотите трюк, господа? – Ревин улыбнулся.

– Уж не с закрытыми ли глазами вы изволите палить? – осведомился Одоев.

Ревин что-то шепнул денщику и через пару минут тот притащил деревянный ящик. Офицеры, движимые вполне объяснимым любопытством, подались вперед. Удивление их только выросло, когда Ревин извлек на свет два бережно упакованных револьвера системы Смит-Вессон. Все ожидали увидеть что-нибудь эдакое, оригинальное, но уж никак не самую распространенную в российской армии модель.

Ревин пропустил скептические усмешки мимо ушей.

Это были вовсе не обычные револьверы. Изготовленные в Бельгии по особому заказу, самовзводные, но с механизмом легкого спуска, с измененной конструкцией барабана, исключавшей заклинивание гильзы вследствие раздутия, они достались ему по ста рублей каждый. Это против обычных тридцати-сорока. Заряжались одинаковые, как братья-близнецы, револь-

веры сразу шестью патронами, скрепленными специальной крестовиной, что существенно убыстряло процесс. Точная расточка ствола увеличивала дальность стрельбы и убойную силу. Вдобавок, из-за распространенности данной оружейной системы, не предвиделась нехватка патронов.

– А зачем вам два револьвера? – поинтересовался кто-то.

– Но у меня же две руки...

– Однако!.. – послышались смешки.

– Только выстрел один, – напомнил Одоев. – Прошу же, не мешкайте! Туз ждет вас...

– Капитан, у меня принцип. Я не убиваю больше одного туза в день. Прикажите прикрепить к доске пару шестерок.

Просьбу выполнили, вокруг наступила тишина.

Ревин стрелял навскидку, от пояса, и так часто, что все двенадцать выстрелов слились в очередь. Когда дым рассеялся, всеобщему обозрению представились две карты, простреленные акурат по центрам всех шести пик и бубен.

Раздались восторженные возгласы, Ревина единогласно сочли победителем. Кибардин, привлеченный шумным собранием, внимательно осмотрел на просвет дыры, покачал головой:

– М-да... Повидал я на своем веку виды... Вам бы в цирке выступать... Настоятельно рекомендую, господа, учиться у ротмистра! Настоятельно!..

Учиться офицеры решили незамедлительно. Но не раньше, чем подойдет к концу ящик «божол».

К началу зимы полк доукомплектовали, солдатам выдали новое обмундирование и конскую упряжь. Размеренной гарнизонной жизни пришел конец – все время занимала боевая подготовка, разводы и маневры. Наезжало то одно начальство, то другое, а то и от командования корпуса норовил нагрязнуть с проверкой какой-нибудь золотопогонник. На фоне ухудшающихся отношений с Турцией вся эта кутерьма производило впечатление недвусмысленное. В воздухе явственно запахло войной.

Казачья занимались джигитовкой, рубали шашками чучела, да кололи их же пиками. А стреляли совсем мало: военное руководство высказывало неудовольствие высоким расходом патронов. И от недостатка практики стреляли плохо, из рук вон плохо, лупили в белый свет, как в копеечку. Большинство верховых, будь их воля, с удовольствием вообще побросало бы карабины, нахлопывающие по спине и мешающие движению рук. Некоторым, в основном унтерам да взводным, выдали однозарядные Смит-Вессоны, крайне мешкотные в перезарядании и являвшие собой, по сути, оружие разового действия. То есть в тесной свалке, более-менее вероятно, стрелок мог ухлопать только одного противника, да и то в упор, в несколько шагов, ибо дальше просто не попадет. Далее ставка делалась на шашку и Божий промысел.

Казачья офицерская шашка Ревину не нравилась. Он нашел в Итуме кузнеца-черкеса и заказал ему пару шашек иной конструкции. Рукояти прямые, округлой формы, без всяких гаек под темляки, с небольшим колечком гарды. Клинки малого изгиба, с долами по всей длине. Ревин велел не острить лезвие в боевой части со стороны обуха, как это нередко делалось. По форме такая необычная шашка походила больше на японскую катану и позволяла наносить с равным успехом и рубящие удары, и колющие.

Суровый немногословный кузнец частенько сталкивался с капризами офицеров и заказ воспринял без удивления. Поинтересовался только, насмешливо зыркнув черными глазами, зачем, мол, господину две шашки.

– Так, две же руки у меня, – отвечивал Ревин, оставив черкеса в некотором недоумении.

Положенная за работу изрядная сумма, позволила получить заказ в срок. Осмотрев оружие, Ревин остался доволен и качеством стали, и заточкой клинков, легко и плотно прятавшихся в ножны, отороченные изнутри войлоком. Дело свое кузнец знал прочно.

Мастера, изготавливающего конскую сбрую, Ревин попросил пошить две поясных кобуры и ременную конструкцию, позволяющую крепить ножны шашек к спине, крест накрест, дабы не мешали сидению в седле. Тщательно обмерив торс Ревина, кожевник работу выполнил, также получив щедрое вознаграждение.

Сослуживцы к подобным ухищрениям относились скептически. По их мнению, офицер должен был воевать не личным оружием, а вверенными ему в подчинение людьми.

– Нас рассудит количество орденов, господа! – отшучивался Ревин.

Вот уж действительно. Солдату, ему нужно что? В бою живым остаться, живот набить поплотнее кашей да уснуть в тепле. А офицер рискует жизнью ради славы, наград и звезд на погоны. А на войне сыплются они ой, как споро! Только ладони подставляй. Если не оторвет...

Полк шел рысью колонной по двое, растянувшись на версту. Обгоняя понуро бредущих серошинельников в грязных обмотках, мимо медленных, вечно неспешающих за войсками обозов, мимо походных лазаретов и пушечных батарей. То, что витало в воздухе, то, что неминуемо должно было произойти – произошло. Вчера в Кишеневе, в ставке верховного главнокомандующего был подписан манифест об объявлении Турции войны.

А весна чихать хотела на манифест. Кругом оживала земля, зацветали розовой пеной сады, светило, припекая плечи, солнце. Где-то высоко в синеве без устали журчал жаворонок и разглядеть его в ярких лучах не было никакой возможности.

Ревин отпустил поводья, давая возможность лошади самой выбирать дорогу. Он сменил трех коней, пока не пересел на молодую некрупную кобылку рыжей масти, из-за белого цветка на лбу нареченную Ромашкой. Не отличалась Ромашка ни статью, ни скорым бегом, ни выносливостью, да и, чего греха таить, со стороны выглядела неказисто. Казаку еще ладно, а другому офицеру, пожалуй, и стыдно будет показаться на такой коняге в парадном строю или предстать перед дамой. Однако Ревин в своей боевой подруге души не чаял, понимали они друг друга, что называется, без слов. Ревин мог управлять лошастью одними коленями, без рук, а то и просто голосом. Ромашка послушно ложилась на брюхо, прибегала на свист, как собачонка, и не давалась чужому в руки. Была она нрава покладистого и спокойного, и, что немаловажно, и ни на выстрелы, ни на разрывы не реагировала.

Впереди показалась группа всадников, идущих наметом по полю. Ревин поднес к глазам бинокль. Судя по золотым галунам авангардной группы, жаловало к ним начальство. А вон, позади, человек тридцать отборных казаков из числа сопровождения. Ага, заспешил к Кибардину за разъяснениями граф Аскеров.

Ревин Аскерова недолюбливал, вел с ним себя деликатно, но на короткой ноге так и не сошелся. И спроси – не мог сказать почему. При всей своей высокомерности – как же, единственный граф в полку, – умудрялся он у всех просить совета и действия свои без конца согласовывал. Здесь таких звали «моншерами». Явились отметить, макнуть нос в кровавую реку, выслужиться и скоренько убраться куда подальше. Оно и для карьеры перспективно и дамы от боевых орденов в обморок падают.

Протрубили построение.

Офицеры шипели на унтеров, унтера орали на рядовых, рядовые выкручивали удила лошадям – полк строился. Лошади всхрапывали, недовольные теснотой, норовили куснуть, тянулись мордами к земле, к молодым побегам, вырывая из рук поводья. Если посмотреть вправо-влево, то кроме колышущейся чащи поднятых кверху пик, ничего увидеть не удастся. Сходство с лесом добавляли пляшущие на ветру тряпичные флюгерки.

Из-за этого леса, вальяжной рысью выехало аж целых два генерала в сопровождении нарядной свиты рангами пожиже.

– И-и-р-р-на! – прозвучало по рядам.

Казачьи старательно выпучили глаза, выпятили животы и замерли, застыли взором. Взяли под козырек офицеры.

Один генерал, немолодой уже, с густой подкрученной бородой, проскакал со скучающим видом мимо. Судя по выражению его лица, длительная скачка растрясла толи изжогу, толи подагру, толи еще чего похуже. Выстроенный полк генерала не вдохновлял. Зато второй, едва ли намного старше Ревина, с горящим взором и лихим, вздутым ветром вихром, пустил коня ближе к шеренгам. Все больше не войска посмотреть, а самому войскам показаться. Через каждые пятьдесят-сто шагов он останавливался напротив какого-нибудь казака, интересовался как казака звать, откуда тот родом и есть ли какие-либо жалобы на службу. Услышав исторгнутое из живота: «Никак нет, ваше превосходительство», генерал произносил:

– Мэлэдэц!

И ехал дальше.

Поравнявшись с Ревиним, генерал зацепился взглядом за две торчащие у того из-за спины, подобно крыльям, шашки и недовольно нахмурился:

– Это что это, – первую часть фразы он произнес как бы вообще. А вторую адресовал лично командиру полка, – у тебя за сарацин такой? А? Полковник?

Не смотря на то, что Кибардин был вдвое старше, генерал говорил ему исключительно «ты».

– Ротмистр Ревин, – отрекомендовал командир полка, – одинаково хорошо владеет обеими руками...

– Я не спрашиваю, чем он владеет. Почему у тебя в полку форма офицера не отвечает уставу? Как, говоришь, фамилия?..

– Ревин, ваше превосходительство, – Евгений вызывающе взглянул генералу в глаза.

– Почему шашка не на бедре? Почему их две, ротмистр?..

Кибардин, находящийся позади генерала, отчаянно вращал глазами, делая Ревину знаки немедленно снять эти треклятые шашки к чертовой матери.

– Потому что полк выдвигается к театру боевых действий, ваше превосходительство.

– Да ты что! – изумился генерал. – Вот просвятил, любезный!.. Черт знает что! – генерал развернул коня, давая понять, что разговор окончен.

Но тут, не иначе этот самый всеведущий черт, дернул Ревина за язык.

– Смею заметить, ваше превосходительство, но устав предписывает обращаться к лицам офицерского звания не иначе как на «вы»...

Похоже, что в эту минуту, даже неугомонный жаворонок в синей вышине, прекратил свою песню. Окружающие, не осмеливаясь повернуть головы, скосили на Ревина глаза, генерал поперхнулся воздухом и посерел лицом. Он открыл было рот, чтобы выдать гневную отповедь, но отчего-то удержался. Наградив Ревина взглядом, не обещающим ничего хорошего, ошпарил коня плетью. Тот присел, замотав оскорбленно головой, и взял галопом по полю, высоко выбрасывая из-под копыт комья земли. Следом потянулась свита.

Когда полк снялся и многоногой гусеницей потянулся за хребет, с Ревиним поравнялся Кибардин. Некоторое время ехал рядом, потом произнес, глядя в сторону:

– Мне-то, старику, расти дальше некуда... Больше полковника, все одно, не дадут. Аскеров, вон... Этот дослужится. А я нет... Не мне вам объяснять...

Ревин дернул плечом, промолчав.

– Вы хоть знаете, чей гнев навлекли?

– Не имею чести.

– Вот уж врите! Уж чего-чего, а этого добра у вас, хоть одалживай!.. Вы изволили повздорить с Алмазовым, он начальником штаба состоит при Девеле. А еще сообщу вам по секрету, что протеже он, – Кибардин понизил голос, – самого великого князя Михаила Николаевича. М-да... Уж простите за каламбур, врагу не пожелаешь такого врага...

– Да какой я ему враг?.. Кто я. И кто он! – Ревин постучал плетью по каблuku сапога.

– Вы ему – нет. А он вам – в самую пору... Безрассудный вы человек, Евгений Александрович!

Кибардин козырнул и поскакал в голову колонны.

Солнце перевалило за полдень, когда отряд ступил на чужую землю. Миновав молоканские деревушки, ютящиеся на самых границах ущелий и отрогов, прошагали мимо громадного черного от времени креста, обозначающего границу России. Солдаты кланялись, крестились, кто-то набирал в нагрудный мешочек горсть родной землицы, кто-то смахивал с обожженного солнцем лица скупые слезы.

Невесело вздохнул какой-то казак:

– Эвон, туретшина...

Разъезды с посвистом и улюлюканием ускакали вперед, рассеялись по сторонам. А следом бесконечной змеей шагала по петлючим узким ущельям конница, брела пехота, оружейные расчеты волокли пушки, тянулись обозы и в самом хвосте плелась, жалобно бляя, баранта овец, обреченная на съедение.

Дважды трубили тревогу. Вдали проносились на горячих арабах пестро разодетые башибузуки. Но в бой не ввязывались, постреливали в сторону русских, пуская по ветру дымные языки, да кричали что-то.

Вступили в первую турецкую деревушку, казавшуюся пустой. Ветер гонял пыль вдоль глиняных стен, поскрипывала, нагоняя тоску, дужка мятого ведра у колодца. Но в каждой хижине, забившись по углам, сидели женщины с детьми, со смесью любопытства и страха зыркали из темноты на чужаков. Все мужчины, не считая дряхлых стариков, ушли.

До слуха то и дело долетало приглушенное:

– Урус... Урус...

Отряд шел вперед, не встречая сколь-нибудь значимого сопротивления. По пути сжигали пустующие казармы, склады с преимущественно брошенным английским обмундированием, рушили, дабы не служили врагу, печи для выпечки хлеба. Жители взирали на поднимающуюся к небу столбы удушливой гари молча, без стенаний и проклятий, вроде бы как даже равнодушно.

Через несколько дней колонна встала под стенами Ардагана. Крепость возводили под руководством англичан, по последнему слову инженерной науки. Мощные фортификации на господствующих высотах под названиями Гелаверды и Рамадан в полной мере дополняли естественную природную защиту. Подступы к ним насквозь простреливались с городских стен, построенных на крутых берегах реки Куры, и из самой цитадели. Взять такую крепость с налету, нечего было и думать.

– Ну, как тебе, Ляксандрыч, задача?..

Есаул Половицын, четвертый сотник в полку, здоровенный мужичище, весь в шрамах и спайках, выбившийся в офицеры из солдат через бесконечные рубки, разговаривал с ним по-простецки, не утруждая себя церемониями. Лапица с лопату шириной возлежала на эфесе широченной шашки. Говаривали, что мюридов Шамяля разваливал он этой шашкой надвое, косил, от плеча до пояса.

– Слышал я, Девель помочи испросил у главной квартиры, – продолжал Половицын, придерживая гарцующего жеребца. – Да и будто бы сам Лорис нашему генералу не больно то доверяет. А тут такое дело...

Примчался вестовой, Ревина желал видеть полковник.

– Возьмите людей, – велел Кибардин, – и проведите разведку здесь и здесь, – карандаш постучал по трехверстке. – Однако сильно на карту не полагайтесь, – предостерег полковник. – Врет она...

Их было больше в два раза. Сорок живописно разодетых всадников прижимали отряд Ревина к ущелью. Головы турок покрывали огромных размеров тюрбаны, многие везли за широкими поясами по два, а то и по три пистолета, настолько богато разукрашенных, настолько и древних, еще с кремниевыми замками. Однако винтовки башибузуки все, как один, имели английские.

Ревин опустил бинокль. Отступить было некуда. Да и кони заморились за день перехода – далеко не ускачешь, того гляди падать бы не начали. Турки это знали и не спешили, словно предоставляя казакам небогатый выбор: хочешь – под ятаганы, хочешь – головой с обрыва.

На протяжении всего следования за отрядом неотрывно следили. И наблюдатели с высок, и одинокие всадники, гарцующие на расстоянии выстрела. В случившемся вину Ревина. Справедливо, надо сказать, вину. Прохлопал ротмистр западню, получи и распишись. Хотя, справедливости ради, надо отметить, не он один. Никто такого поворота не ожидал.

Казаки роптали. Урядник Семидверный так и вовсе пререкался, открыто выказывая неуважение. Многие, как и он сам, прошли живыми через такие мясорубки, через такие испытания, а тут так глупо, ни за грош, сложить головы, да еще в самом начале кампании. К новому сотнику относились настороженно, за своего не привечали. Косились казаки на офицерские погоны, а слушали Семидверного, которого почитали в сотне и за командира, и за отца родного. А тут и вовсе, растратил Ревин весь свой кредит доверия.

– Вдарим разом, хлопцы! Авось кто и утекёт!..

– Вдарим... Где там... Вдарим... Настругают в мелкую стружку...

– Тут главное живым не даваться. Большие они мастера по части нашего брата живодерничать. Бають, голой задницей на кол так посодюют, что острие из языка вылазит...

– Тьфу ты!.. Помолчал бы хоть, нехристь!..

Ревин приподнялся в стремях:

– Слушай меня! Примем бой здесь!..

На него не смотрели. Воровато отводили взгляд, косились на Семидверного.

– Прорываться надо, – произнес урядник. – Все шанс какой-никакой. Порезут нас ломтями, как баранов.

– Выполнять приказ! – Ревин расвирепел. – Пики бросить! Изготовиться к стрельбе! Урядник, постройте людей в две шеренги!

– Слушаюсь! – Семидверный издевательски взял под козырек, и добавил тихо, но так, чтобы Ревин услышал: – Твое-мое-ваше-благородие... Подвел под монастырь... Станови-ись!..

– В бога, в душу, в мать! Я сказал, бросить пики! – Ревин вырывал древки из рук. – Стрелять по команде!..

Башибузуки, завидев в стане врага смятение, ринулись в атаку. Заблестели над чалмами кривые ятаганы, роняли желтую пену скакуны, взбивая за собой тучу пыли.

Казаки прощались друг с другом, густо крестились, целовали кресты.

– А ну, погодь прощаться! – прикрикнул Семидверный. – И не таких бивали! Ну-ка, братцы, наложим-ка им в кису!

– Це-елься! – срывая голос закричал Ревин.

Казаки подняли винтовки.

Турки открыли огонь первыми. Под кем-то рухнула лошадь, кто-то ойкнул и тяжело осел, выронив винтовку.

– Пли!!!

Залп, пусть и не очень прицельный, сделал свое дело. Передние кони полетели кубарем, давя мертвых и выживших, образовалась свалка, и казакам представилась возможность сделать еще по одному выстрелу.

– Шашки во-он! – проревел Семидверный. – Руби их в песи!

А вот того, что произошло в дальнейшем, не понял никто.

Ревин выскочил вперед всех и пустил свою кобылку как-то странно, как казаки не ездили, боком. В следующую секунду у него в руках возникли, словно тузы из рукавов умелого фокусника, плюющиеся огнем револьверы. Турки повалились с седел, как снопы, роняя слабеющими пальцами оружие и поводья. Сквозь облако порохового дыма неслись лошади, волокущие мертвых седоков, запутавшихся в стремях.

Обычно, шестизарядные револьверы заряжали пятью патронами, оставляя одну камору свободной, дабы исключить самопроизвольный выстрел. Ревин же пустого места в барабане не возил, надеясь на предохранительную скобу. Все двенадцать выстрелов нашли себе цель, и каждый из них унес чужую жизнь. Лишь одиножды пуля в грудь не остановила свирепый замах врага. Дело поправила вторая, в середину лба.

Тонко запели на ветру шашки, скользнув из ножен за спиной, блеснули синей сталью, встретив двух черноглазых бородачей, что решили взять русского офицера в ножницы. Неуловимым жестом Ревин стряхнул с клинков кровь и ринулся в самую гущу свалки. Оглядываясь он не видел смысла, зная, что те двое сейчас валяются на землю, зажимая руками разрубленное горло.

Бой достигал апогея. Обезумевшие люди кромсали друг друга по чем зря, лупили по оружию, калечили лошадей. Звон железа заглушали вопли, отборная матерщина и предсмертные хрипы. Ревин волчком вертелся в этой кровавой бане, каким-то чудом оберегая себя и лошадь от ударов. Шашки его извивались жадными до крови пиявицами, и, со стороны, будто бы едва касались турок. Но те падали замертво от таких прикосновений, падали, орошая землю красным.

Перелом в схватке наступил. Казаки уже наседали на башибузуков по двое, по трое, а главное, уверовали в свою победу. Пленных не брали. Словно расплачиваясь за пережитый страх, рубали вся и всех, и убегающих, и спешившихся, в мольбе о пощаде закрывавших голову руками.

– Ух ты, гляди-ка, баба!..

Казаки обступили кругом невесть откуда взявшуюся турчанку, переодетую в мужскую одежду. Девушка бешено вращала коротким ятаганом, и сунувшиеся было к ней смельчаки, поспешно ретировались, зажимая на теле глубокие порезы. Похабные ухмылки, как одна смывались гримасами боли.

– Щас я ее, стерву, сыму! – кто-то вскинул карабин.

– Отставить! – Ревин выехал вперед, рассматривая неожиданного врага.

Девушка была явно не чистой турчанкой, судя по всему, кровь азиатская здесь смешалась с европейской. Сама черноглазая, но из-под тюбана ее выбивалась светлая прядка, выдавая цвет волос, для уроженицы востока крайне нехарактерный. Да и телосложением воительница мало напоминала горную лань, походила все больше на среднерусскую красавицу. Блуждающий глаз самопроизвольно останавливался на ее выпуклостях и округлостях.

– Ромистр Ревин. С кем имею честь?

Девушка молчала.

Ревин повторил вопрос по-турецки.

– Я – Айва, дочь Сабрипаши! – смуглянка вскинула подбородок.

– Ышь ты! Паша за нее, небось, богатый бакшиш отвалит, а? – Семидверный ухмыльнулся. – Погуляем, братцы!

– Вы понимаете по-английски? Скорее всего, да... Готов побиться об заклад, лучше, чем по-турецки...

Ревин не договорил, поспешив закрыться от града ударов. Видимо в словах его барышня уловила скрытый намек на любовные похождения своего папаша. Ревин, удивленно приподняв бровь, некоторое время парировал выпады, нанесенные с изрядной долей мастерства. Но, в конце концов, ятаган улетел в пыль, а девушка, шипя сквозь зубы, потирала вывернутое запястье.

– Война – не женское дело, сударыня, – Ревин вложил шашки обратно в ножны. – Бросайте вы его.... Не смею вас больше задерживать.

Смуглянка не двинулась с места, не веря словам.

– Вы свободны! – повторил Ревин. – Пропустите! – велел он казакам.

– Ты пожалеешь, что меня не убил! – пообещала девушка на вполне сносном русском, и, не дожидаясь, пока офицер передумает, ошпарила коня плетью.

– Зря это, – Семидверный проводил истаявшую в предзакатном мареве фигурку злым взглядом. – Пятеро наших полегло и шостый, вона, доходит. Не довезем кубыть. Хлопцы все, как один порубаны. Зря...

Ревин поиграл желваками и рявкнул:

– Слушай меня все! Слушай и запоминай, добры казачки! Мои распоряжения не обсуждаются! В следующий раз за невыполнение приказа пристрелю на месте! Всем понятно? Вас, урядник, касается в первую очередь!..

Семидверный почернел лицом. Не оттого, что обещались пристрелить, этого он за свою службу наслушался, а оттого, что его Ревин обратился к нему на «вы», как, все равно, к какому висельнику.

«Лучше бы уж в зубы дал, а то и впрямь пристрелит ведь, сатана».

– Виноват, господин ротмистр! Боле не повторится...

– Понятно!.. Понятно! – загудели казаки. – Не сердчайте, ваше благородие! Подростерялись мы малость.

А про себя переговаривались:

– А наш-то, кажись, не промах! Вона, басурмана-то накопил обстоятельно, с душой...

Гром осадных орудий сотрясал землю. Полста жерл изрыгали пламя и дым, слали двухпудовые посылки. Над Ардаганом стояли черные столбы пожарищ – пристрелявшись, канониры клали плотно. Под развернутыми знаменами стояли штурмовые колонны пехоты: ждали приказа.

Из крепости в беспорядке выступила турецкая конница. Сыпанули вслед алые фески редифов, образуя отдаленное подобие строя. Это гарнизон, не выдержав обстрела, бросился на прорыв.

– Будет дело! – оскалился Половицын, стараясь перекричать канонаду.

Над полевыми батареями расцвели пороховые цветки, и, прежде чем ветер запоздало донес гром залпов, строй турок проредили разрывы долетевших гранат. Редифов косила шрапнель, рявкнули тяжелые двадцатичетырехфунтовки, смешивая в стане врага живое и неживое. И тотчас, пронизав все звуки боя, протрубил атаку горн. От стука двух тысяч копыт задрожала земля, все четыре полковых сотни, выстроившись подобием серпа, устремились на турок с фланга. Казалось, прошла секунда и расстояние в полмили сократилось до длины шашки.

Казаков было больше, действовали они слаженно и зло, вынуждая турок показывать спины. Есаул Половицын, вклинившись далеко вперед, рубился вкруговую, издали напоминая медведя на псарне. Страшная шашка его брызгала кровью, секла, не встречая преграды. Ревин свистнул казаков из своей сотни и пошел есаулу навстречу.

– То правильно! – прогудел Половицын.

– Чего? – Ревин не понял.

– То правильно, что не обложили кругом, – Половицын отер пот тыльной стороной ладони. – Турка, его ежели к стене прижмешь, начинает зубы казать. А так драпает, как миленький. Кишка у него слабовата...

Кибардин сам в свалку не лез, приказы рассылал через вестовых, не желая красоваться ни перед начальством, ни перед подчиненными. Полковник просто выполнял свою полковничью работу.

– Ротмистр, – встретил он явившегося по приказу Ревина. – Понимаю, что не по профилю вашему задание, но выбирать не приходится. Вот там, – полковник указал рукой, – уж который час пехота не может взять укрепление. Поступайте с вашей сотней в распоряжение полковника Кормухина, – и, оглядев забрызганный кровью мундир Ревина, добавил: – И не суйтесь вы сами в пекло, Христом Богом прошу...

Полковника Ревин отыскал возле штабной палатки на холме. Оттуда прекрасно просматривалась панорама развернувшихся батальей. Во фланге наступающих русских войск, словно нарыв, остался турецкий форт, со всех сторон окруженный серыми пехотными ротами. Ревин подоспел как раз вовремя, чтобы наблюдать, как под плотным огнем с укреплений захлебнулось очередное раскатистое «ура!». Пехота откатывалась назад, неся убитых и раненых.

Позади полковника толпились адъютанты, ожидая приказаний. Но приказаний не следовало. Не отрываясь от бинокля, Кормухин мусолил во рту крепкую папиросу из дешевых сортов табака и также крепко матерился себе под нос.

Ревин отдал честь, отрекомендовался.

– Вас еще мне не доставало, – раздраженно отмахнулся полковник.

Лицо он имел испитое, с какой-то нездоровой отзеленью набрякших мешков под водянистыми глазами.

– Семенов! – проскрипел полковник.

Из группы адъютантов отделился молоденький поручик, остановился на безопасном отдалении.

– Семенов, скажи любезный, на кой хер мне кавалерия, когда я просил пушки? А? – полковник в ярости хватил оземь биноклем и ринулся на поручика с кулаками.

– Господин полковник! – Ревин удержал Кормухина за локоть. – На пару слов...

Ревин намеренно пренебрег уставным обращением «ваше высокоблагородие», подчеркнув тем самым, что Кормухин не начальник ему, и плевать он, в общем, хотел на полковничьи эполеты. Но зачем Ревин попер на рожон в очередной раз, он и сам сказать не мог. Видимо на роду ему было написано пререкаться с полковниками. Или с генералами.

– Ваше поведение не делает вам чести, – проговорил Ревин негромко. – От вас ждут приказов. Возьмите себя в руки!..

– Ты еще учить меня будешь, мальчишка?! – взбеленился Кормухин, брызгая слюной. – Да ты еще титьку сосал, когда...

– Соберите всех стрелков на одном направлении, – не обращая внимания на оскорбления, продолжил Ревин. – Нанесите основной удар узким фронтом, не распыляйте силы по периметру. И солдат постройте цепями, а не «ящиком».

Кормухин осекся на полуслове.

– Гм, – проговорил он через некоторое время, – Дело говоришь... Говорите... Ротмистр... Прошу меня простить. Нервы ни к черту стали...

Ревин кивнул, принимая извинения.

– Семенов! – гаркнул полковник. – Командиров рот ко мне! И коня!..

Пехота перегруппировывалась. Под несмолкаемый барабанный треск прапора выстреливали команды своими лужеными глотками, тасуя серошинельную массу. Подводы увозили раненых, наспех обмотанных бинтами, дожидались своей очереди и завернутые в рогожку

трупы, стасканные рядками. Солдаты, проходя мимо, отводили взгляд, каждый представлял под рогожкой, видно, себя.

Поутихла и стрельба с форта – турки наблюдали за приготовлениями русских, гадая, откуда ждать атаки. С Кормухиным тоже произошли перемены. Как-то он просветлел лицом, приосанился. И вряд ли виной тому послужил разговор с Ревиным, всего вероятней, причиной стало то, что полковничий кулак нашел таки себе точку приложения. Под горячую руку попался обозный интендант, не пожелавший выдавать стрелкам патроны сверх нормы. Теперь вот бегал вслед за Кормухиным, ожидая распоряжений, а на полфизиономии его расплывался роскошный фонарь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.